

1990 № 10 (46)  
ОКТЯБРЬ

# РОДІНИК

ISSN 0235—1412

ПРОЗА ПОЕЗІЯ ДРАМАТУРГІЯ ПУБЛІЦИСТИКА КРИТИКА



# РОДНИК

«АВОТС» [«РОДНИК»] ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ НА ЛАТЫШСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ. ИЗДАНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЛАТВИИ. ВЫХОДИТ С ЯНВАРЯ 1987 ГОДА.

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЙВАРС КЛЯВИС  
(главный редактор)  
ЯНИС АБОЛТИНЬШ  
ВИЛНИС БИРИНЬШ  
(ответственный секретарь)  
ИЛМАРС БЛУМБЕРГС  
ГУНТАРС ГОДИНЬШ  
(редактор отдела)  
МАРИС ГРИНБЛАТС  
ЭДВИНС ИНКЕНС  
ВЛАДИМИР КАНИВЕЦ  
(заместитель главного редактора)  
АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ  
ПЕТЕРИС КРИЛОВС  
ЮРИС КРОНБЕРГС  
АНДРЕЙ ЛЕВКИН  
(редактор отдела)  
ЯНИС ПЕТЕРС  
АДОЛЬФ ШАПИРО  
ВИЕСТУРС ВЕЦГРАВИС  
ИМАНТС ЗЕМЗАРИС

## РЕДАКТОРЫ:

ЕКАТЕРИНА БОРЩОВА  
ЛАЙМА ЖИХАРЕ  
ЕЛЕНА ЛИСИЦЫНА  
НОРМУНДС НАУМАНИС  
ЭВА РУБЕНЕ

## КОНСУЛЬТАНТ ПО ПОЭЗИИ

АМАНДА АЙЗПУРИЕТЕ

## КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЗЕ

АЙВАРС ТАРВИДС

## КОРРЕКТОР

ЛИЛИЯ КРУГЛИКОВА

## ПЕРЕВОДЧИК

АНТА СКОРОВА

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

НОМЕРА

НОРМУНДС НАУМАНИС

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР

ИНАРА ЮРЬЯНЕ

## ЛИТЕРАТУРА

Гунтис Берелис. «Писатель. Слова» (1)  
Петерс Бруверис. Стихи (12)  
Игорь Померанцев. Рассказы (14)  
Владимир Аристов. Стихи. (26)  
Игорь Клех. Рассказы (28)  
Николай Зеров. Стихи (30)

## КУЛЬТУРА

Вильгельм Михайловский. «Группа «А» Латвия» (32)  
Гунар Янайтис. Интервью в Калифорнии с Гвидо Аугустом (44)  
Юрис Стренга  
«Don't Worry! Be Happy!» (49)

## ПУБЛИЦИСТИКА

Бруно Коппитерс. «Пацифистские секты, большевики и право на отказ от воинской службы» (53)  
Юрий Кагарлицкий. «Оксюморон» (59)  
Юрий Дружников. «Вознесение Павлика Морозова» (62)  
Гагик Карапетян.  
«А. Манучаров — К. Майданюк: Дуэль «эпохи перестройки»?» (66)

## ЛИТЕРАТУРА

Михаил Дорошенко.  
«Сцены из старинной жизни» (72)

Рукописи принимаются отпечатанными на машинке в двух экземплярах, не рецензируются и не возвращаются.

БРАКОВАННЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ПРОСИМ ОТСЫЛАТЬ В ТИПОГРАФИЮ (АДРЕС см. НИЖЕ). РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛЫ НЕ ВЫСЫЛАЕТ.

Сдано в набор 9.08.90. Подписано в печать 25.09.90. Л-000053. Формат 60×90/8. Офсетная бумага № 1, 2. Офсетная печать. 10+0,5 усл. печ. л., 21,5 уч. л. отг., 13,8 уч.-изд. л. Тираж 140 000 (на латышском языке 87 000, на русском языке 53 000). Номер заказа 1296. Цена 50 коп. АДРЕС РЕДАКЦИИ: 226081, РИГА, БАЛАСТА ДАМБИС, З. АБОНЕНТНЫЙ ЯЩИК 35. ТЕЛЕФОНЫ: гл. редактор 224166; зам. гл. редактора 224100; отв. секретарь, техн. редактор 225654; редактор отделов прозы, поэзии, культуры, публицистики 229743; консультант прозы и поэзии 227208; художник 210030. Отпечатано в типографии Издательства ЦК КП Латвии, 226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

# ПИСАТЕЛЬ. СЛОВА.

...особенно ранним утром, когда еще невменяемый пробираешься по ледяному полу на кухню, варить кофе... жалкая, голая лампочка болтается на конце шнура над кухонным столом, совершенно как у одинокого пропойцы, пичкает глаза бесстыдно прямым светом, наглядно, что ли, утверждая, что вот она-то свет и есть, употребляется который в хозяйстве и нигде кроме... кажется, что «раньше» и «теперь» вовсе не пара точек внутри одного потока, но две вещи совершенно отдельные, отдаленные настолько, что тщетно и пытаться установить связь между ними. Да бог с ним, с утром, по утрам человек к укреплению отношений с действительностью не подготовлен еще: еще и себя самого он воспринимает разрозненно и невнятно, не в состоянии сладить с хаотичными и самовольными приступами воспоминаний — точно так же, как невозможно управлять своим телом едва проснувшись — куда уж тут сводить накопившиеся за вечность счета с действительностью, да и позже — дом прогрелся, душа разогрелась — настроившись на дневные труды, все равно чувствую, что мысли упорно льнут к двум словам: «раньше» и «теперь» и всё ищут этот перелом, эту точку, в которой «раньше» превращается в «теперь», ведь различие это настолько уязвляющее, что перелом быть обязан — и начали ведь развиваться из какой-то точки те пустоты, которые я с таким удовольствием сооружаю в себе. Это, в общем, не больно, но пустоты, прибавляясь, соединяясь друг с другом, образуют целые полости пустот — и это непостижимое и необъяснимое ощущение пустоты внутри тебя становится уже болезненным (впрочем, как можно назвать то, чего нет, — кому это понять, как не мне: какое, например, у меня есть основание называть отсутствующее во мне пустотой?). Глаза назойливо ласкает матовая — в лучах зари — розоватость не свежей, замусоленной подушки, и тут я прихожу в себя, сообразив, что от сна меня пробудил резкий телефонный звонок, тут же, впрочем, возникают и сомнения: не была ли эта звонилка самовольно ожившим будильником, и, несколько обескураженный, я посылаю свой взгляд в сторону тумбочки — обнаружить там телефон, трубку которого надо снять, или будильник, который следует прихлопнуть ладонью; обнаруживается, однако, что там не только ни телефона, ни будильника, но нет даже тумбочки, из чего я заключаю, что и в самом деле этим утром снова вернулся в мир. Одно меня постоянно беспокоит: а что будет, если этот звонок не переместит меня через смутную границу между сном и явью, так что я увижу сон, в котором поднимаю трубку и разговариваю с позвонившим мне — это, возможно, внесло бы ясность в происходящее и объяснило бы мне, почему я так часто просыпаюсь от подобного звонка (вероятнее, впрочем, меня ожидало бы разочарование: пустопорожний разговор с самим собой, либо прощитая скукой тишина в трубке).

Приняв трубу за ось симметрии, дом можно обойти вокруг, внутри: все помещения проходные — три, используемых в качестве жилых комнат (если бы кто-либо, пожелав бы удостовериться само это определение «жилые», собла-

говил бы в них поселиться), кухня и такой слишком узкий, словно изуродованный, закуток без окон, затесавшийся между двух комнат и тоже, почему-то, проходной — дом можно обойти и вернуться в исходную точку: либо кружить бесконечно — такой замкнутый круг; чтобы избавиться от него, одни двери я основательно заколотил, так что теперь у меня дом как дом, а не комментарий к ненаписанным произведениям. Одно время, впрочем, я опасался, не окажется ли само это заколачивание дверей — чтобы пресечь хождения по кругу — метафорой или, в лучшем случае, неким анти-метафорическим манифестом, в конце концов придя ко вполне успокоительному выводу, что на этот раз забитая дверь это всего только забитая дверь и ничего кроме: для того, скажем, чтобы пресечь сквозняки, зимой выстуживающие дом насквозь (чего, впрочем, заколачивание дверей не предотвратило); вот если бы я заколотил две двери — закуток с двух сторон, да еще — ненароком забыл бы там буханку или паспорт — вот тогда бы получилась метафора, да препротивная — делать нечего, с волками жить, по-волчьи выть, а живешь один — сам себе песенку сочиняешь.

Самое неприятное — вспоминать факты, все равно какие: то, что происходит на белом листе под защитой света лампы, за окном автобуса или где угодно; все это означает всегда одно и то же: искать зависимости между словами, связь между тенями событий, загадочным образом сгрудившимися в памяти, обкрадывая там друг друга и подавляя, хотя нет вовсе никакой необходимости их ни расставлять по местам, ни даже вспоминать впоследствии; не могу отделаться от ощущения, что, вспоминая, обнаруживается вовсе не то, что какими-то своими действиями — и впоследствии-то не вполне объяснимыми — я ускорил либо замедлил естественный ход событий, но нечто совершенно чуждое, что-то шаткое, подозрительно нестабильное, рассыпающееся от малейшего дуновения сомнений. Марево переменчивой памяти настолько определяет всякий мой очередной шаг, что я боюсь прикоснуться к прошлому, опасаясь взбаламутить там нечто однозначное настолько, что оно направит меня по совершенно ложному пути — если только этого уже не случилось; поэтому воспоминаниям следует отдаваться в состоянии, когда полностью положился на волю обстоятельств — вот как сейчас. Прекрасно понимаю, что никакое откровение, касающееся событий годичной, пятилетней, восьмилетней давности — а в своем прошлом я обнаруживаю иногда вещи самые невероятные и удивительные, о существовании которых даже и не подозревал, пока их не высветило в памяти случайно вспыхнувшее слово — не выбьет меня из моей, мной же устроенной, колеи привычек и наклонностей, не выпихнет меня из этих четырех наружных стен дома с тремя комнатами, кухней и закутком, не вытолкнет прочь из пространства, огражденного светом лампы — где уж тут выбраться из-под власти банальной, произнесенной судьбой метафоры, просто-напросто заколовив двери (ничего, что я иной раз опасаясь,

что в результате какой-либо, пока еще не осязаемой, цепочки воспоминаний я двери внезапно и торжественно отворю — ничего, это будет только легкая вспышка сентиментальности, ничего кроме). Память отдаляется, меня не трогает, ведь на самом деле я сочиняю все заново, руководствуясь словами, тем, что сохранилось от событий в каких-то темных закоулках сознания, и меня вовсе не волнует, было ли все на самом деле так, как я, вспоминая, сочиню или как-то иначе. Случайность в жизни всегда только случайность, тем более, если жизнь осуществляется как комментарий к литературным трудам, поэтому нет у меня ни малейшего желания мудрить, вспоминая, как именно я познакомился со своей женой: вариантов тут можно было придумать на целую библиотеку, так их, слава богу, успели уже сочинить до меня, и каждый из вариантов достоверен вполне, чтобы взять его в качестве отправной точки; к каждому из них можно пристегнуть еще большее число вариантов дальнейшего хода событий, и даже если отменить те, которые не доводят дело до свадьбы — что было, то было, факт неопровержимый — то все равно, даже это оказалось бы вполне фундаментальной энциклопедией жизни, создавать которую у меня нет ни времени, ни желания. В воспоминаниях случайность становится настолько уже сомнительным элементом, что о ней лучше и не упоминать вовсе, все равно — забудется потом; поэтому незачем называть имя жены — оно настолько же случайно и несущественно, как и мое — которое несомненно пропадет среди подобных ему случайностей, полностью избежать которых, впрочем, невозможно.

Если попытаться сообразить некую первооснову, приведшую в движение механизм сюжета, то она окажется до обращения простой и шаблонной (здесь, кажется, это подходит вполне): километры писанины в студенческую стенгазету, иной раз что-нибудь приличнее в центральной прессе, новость какие кружки с гуманитарным уклоном, стихи на стенке факультета, поэтически всклокоченная бороденка, от которой стыдливо и бесповоротно избавился после первой публикации своих рассказиков — рассказы, вроде бы, о том, что подглядывал рядом, а на самом деле — высосанные из пальца, вынашивание утопических надежд создать «историю своего поколения» и сорвать «маски», при полном отсутствии понимания того, что именно могло бы скрываться за словами «поколение», «история» и «маски» — по необходимости всё моментально отчуждается от газетного набора слов. Сюжет крутится дальше, закономерно следует то, что эти рассказы составили-таки кое-как накорябанную первую книжку, источник бесконечной гордости, разумеется, но, главное — солидной финансовой поддержки, наряду с работой ради куска хлеба. Вполне достаточную, дабы в течение нескольких месяцев чувствовать себя господином и повелителем миров видимого и незримого. Точно так же закономерно и то, что критика отреагировала на книжку парочкой до гениальности обезличенных, явно «на вырост» хвалебных рецензий, так что потом только и оставалось, что наступать в свободный вечерок на машинке нечто не вполне оформившееся и, преисполненному телесной печали и элэгичностью предстоящей разлуки, запечатать это в конверт и отправить в какую-нибудь редакцию: первая книжка поддерживала имя года три, а после канула в небытие. Рассказы угрожали составиться в новый сборник — эталон безнадежности, но один из них вдруг стал разворачиваться и развернулся в роман — на четырнадцать месяцев, домучить который до конца удалось лишь потому, что начал жалко похоронить в письменном столе труд, в который вложено столько труда и времени. Невесть почему, роман еще и перевели, так что я с полным основанием мог считать, что стартовая площадка заасфальтирована, можно отправляться в полет и, заодно, приобрести дом из трех комнат, кухни и закутка — в те годы не только книги выходили за год-два, но и подгнивающие, одинокие сельские домики продавались за сотни, число которых не превосходило количество пальцев на одной руке. Привычка к упорному ежедневному труду укрепила мое финансовое положение на вполне приличном уровне, но проблему касательно того, пишу ли я, потому что мне платят, или это мне

платят за то, что я пишу, однозначно разрешить не удавалось — главное, было ясно: не платили бы — не писал.

У меня нет ни малейшего желания всю эту фактографию — выходные данные, пружину сюжета — разделять, приводить в порядок и расшифровывать, чтобы обнаружить единственно истинный вариант, обнаруживая, что вот именно в нем «истина», потому и вполне позволяю себе в биографическом контексте иронию, которая непременно струилась во взглядах редакторов и читателей тех лет: вылежала теперь свой инкубационный период и, со всей силой, вспыхнула, наконец, и во мне. Подвести черту, отречься от себя и начать сочинять что-то совершенно новое было бы по меньшей мере глупо; ирония — единственное спасение, неоценимое спасение, к сожалению, она лишь фиксирует мое теперешнее состояние и не идет на пользу этой вариации на темы воспоминаний — в особенности потому, что в дальнейшем под ее дудочку я танцевать не намерен; далее наступает очередь трагическому, и как совместить трагическое с иронией, чтобы шов был незаметен (хотя, по правде, проблема надумана: кто захочет, обнаружит иронию в пассажах самых трагических, а не захочет — так не увидит там, где ее через край).

Перепробовал массу письменных принадлежностей; мало что на свете меня так нервирует и раздражает, как почерк: ручка вовсе не производила равномерный и ритмический орнамент строчек, но неряшливо царапала и пачкала бумагу; на письме слова звучали жирно и засаленно, а на машинке то же самое оказывалось плоским. Завидовал монахам, расточавшим в своих монастырских скрипториях дни за выведением одного и того же инициала, не подозревающим о времени, когда их годовые труды запросто воспроизведет механизм. Завидовал чиновникам прошлого века, для которых — профессиональных переписчиков — сущность службы и возможность продвижения в карьере коренились в красоте почерка, в то время как я не освоил даже искусства расписаться с размахом — с элегантными кривыми, росчерком внизу и всем тем, что принято оставлять в документах как свидетельство утонченности своей личности. Большого мучения, чем перечитывание и правка собственных рукописей, я не знаю, даже собственные письма вызывают у меня аллергию, и я спешу засунуть их в конверт со всеми грамматическими ошибками и неловкими выражениями в них, заклеить, отправить — сделать недостижимыми для себя, то есть — несуществующими. Желая найти выход, отказался от шариковой ручки для набросков и заметок в пользу ручки чернильной, но та только и устраивала синие или зеленые кляксы, уродуя чудесные фразы, требовавшие быть воплощенными каллиграфической чеканкой. Впрочем, иной раз получались эффектные заглавия, еще и поныне из недр письменного стола выплывает листочек с элегантно перебеленными фрагментами; я обнаружил, что есть слова, прекрасно созданные для каллиграфии, а другие по своему существу на вид точно калеки и написаны быть не могут вообще; но стоило лишь ручке приступить к сочинению связного текста, как она тут же губила самые лучшие замыслы. Поэтому — пусть ее, каллиграфию, и принялся мусолить свои дешевые сигареты уже исключительно за машинкой, выстукивая на ней нечто решительно обезличенное и стертное — даже в набросках и письмах — так что при перечитывании обрел неповторимую возможность следить за каким-то весьма непонятным человеком, вроде бы — моему подобию (во всяком случае, что касается инфантилизма мысли), но самое странное состояло в том, что типография этот самый инфантилизм превращала если и не в солидный, несколько перегруженный рутинной работой, то, по крайней мере, во вполне безобидное похрюкивание.

У всякого события есть причина. В качестве причины надежнее приискать какое-нибудь еще событие — что, если тем более, подработать и пригладить, вполне смахивает на правду: поэтому сей метод я и выбираю и, с полным на то авторским правом, считаю, что причиной того, что теперь я заново реконструирую все свое прошлое, является то, что я остался без жены, причиной чего, в свою очередь, может быть лишь наше несчастное супружество, которое, в свою очередь, было предопределено моим появлением на свет

(сознаюсь, долгое время ошибочно предполагал — кто от этого застрахован? — что мир родился еще до меня или, в лучшем случае, что он родился во мне; второй вариант не вполне обоснователен — чем же я теперь занимаюсь, как не сооружаю мир? по крайней мере, переоборудую старый — так обставляют квартиру новой мебелью взамен выброшенной старой). Кроме того, литератор вправе ввести и некий корректирующий фактор под названием «судьба» — тогда оказывается возможной и обратная связь событий: родился, чтобы жениться, женился, чтобы развестись, развелся, чтобы получить возможность написать эти строки; короче говоря, основной причиной моего рождения было именно это переписывание прошлого. Но судьба все превращает в скучную и дурацкую вереницу событий, в «жизненный путь» (из коего следует самое главное следствие: родился, чтобы умереть), поэтому сейчас я выбираю первый вариант — без предопределения судьбы, притом не буду нанизывать события до самого своего рождения, но остановлюсь на каком-нибудь месте (держа в уме, что он вполне иллюзорен в этом качестве), сделав его якобы окончанием всего предыдущего и началом всего последующего (одному из подобных вариантов я уже отвел целый абзац), и это будет точка, где кончается «раньше» и началось «теперь», значит необходимо ее не только определить словом, но и изложить в развернутом виде.

Кажется, что теперь ход дальнейших событий не потребует детализации моего окружения (дом, три комнаты, кухня, закуток), на ход событий не повлияет не только то, что я в тот день, либо за неделю до него читал или над чем работал, но и то: были ли на мне шлепанцы и хлопчатобумажные носки, или ноги мерзли в шлепанцах без носок, или наоборот — носки были, но не было шлепанцев. Единственное, что здесь существенно, так это то, что горбился над машинкой в круге света настольной лампы (вот видите, без деталей не обойдешься: врываюется самостоятельно — был, значит, вечер, вполне обычный и все равно какой именно: летний, весенний или зимний), вгонял в пот душу свою, стараясь вымучать определенное мной в качестве нормы количество ежедневных страниц (количество было взято, скорее, с потолка, нежели как-то согласовано с моими силами или, точнее, с дневной производительностью) — все чаще следовали пустые дни, когда я и близко не подходил к цифре, принятой мною за эталон сущих усилий. Да что же такое, в самом деле, с миром — думал я — или иссякла любовь, или истощились все непотребства, кои следовало бы выставить на всеобщее осуждение? У слов такая особенность, что их вариации бесконечны, остается лишь приспособить к ним мир. Или это глаза мои ослепли? Или я неверно выбрал стратегию, вложил в первые книжки всю свою жизнь, а на этом запасе мне следовало протянуть лет двадцать или более того? Во вдохновение я не верил, полагая его чем-то вроде надежды на чудо в совершенно безнадежной ситуации, но верил в каждодневный размеренный труд, в соленый пот без примеси крови, в труд, измеряемый величиной стопки исписанной бумаги, и потому последовавшее падение, перелом осуществились совершенно неожиданно — теперь-то я окрестил бы это анти-вдохновением. Насколько вдохновение поднимает над равномерностью ежедневного однообразия, настолько анти-вдохновение ввергает в состояние невозможности добавить к рукописи хоть одно слово, да что там слово — букву, значок, что остановился, и только что написанное внезапно отпадает не только от твоей личности, но и от мира, превращаясь в нелепый и бессмысленный бред. В тот вечер все началось с досады, с легкой неприязни на какое-то неуклюжее скопление слов, неприязнь перешла на самого себя; помню, что всадил кулаком в зубы пишущей машинке: букочки мягко щелкнули и слиплись, хотя полусознанно силу я рассчитал — чтобы не нанести ущерба нежному, чувствительному механизму; поднялся на ноги и принялся мрачно слоняться по комнате, ругаясь в голос и все более погружаясь в злобу; намереваясь на сегодня с делом покончить и отправиться дрыхнуть — именно что дрыхнуть, а не спать. После этого, без какого-либо перехода и при полном отсутствии предчувствий, последовала ломка — падение в

беспросветную безнадежность, когда нет сил и пальцем пошевельнуть, и хотя бы на ход вперед продвинуть мысль, глядя в эту внезапно разверзшуюся пропасть, я вглядывался в собственную суть, ничего там не понимая и даже не ощущая, что тарашусь в себя самого. Вертелись фразы и наборы слов, друг с другом сцеплялись, вдруг отчего-то начиная звучать в торжественном ритме — слова мельтешили, а смысл, который бы к ним пристегнуть, пропал. Не исключено, что если бы я в тот момент и был способен что-либо понять, то — самоубийца: добровольный уход предполагает убеждение в том, что самоубийство не только закономерный конечный пункт жизни, но и ворота в новый сияющий мир — освобождение всегда предполагает и приобретение. Внезапный всплеск надежды побуждает силы трудом удостоверить его; так же точно и безнадежность хочет быть удостоверенной, требует ритуала, который вывел бы ее на уровень если и не осязаемости, то видимости, так что я не нашел ничего более серьезного, как выдрать из машинки наполовину заполненный лист, разодрать его на узкие полоски, и эти полоски тоже порвать пополам (вот как литература перенасытила мир метафорами — чтобы отправить рукопись в небытие, мало сунуть ее в мусорник, уничтожить требуется — вот на что способны слова). Не обошлось и этим, я схватил всю эту, уже нагулявшую изрядный вес рукопись, сунул в печку и, не оставляя времени для сомнений, добавил огня, в угрюмой сосредоточенности вороша бумагу концом щетки, поскольку второпях кочергу не обнаружил. Мои действия развертывались конкретно и педантично — как заранее запрограммированное подведение счетов, как тщательно спланированное отмщение, вот только непонятно кому и за что. Сгреб заодно свои всякие заметки и поверхностные, фрагментарные дневники, позволив превратиться в пепел и тем, поскольку, к счастью, рукописи все-таки горят, как бы ни хотелось утверждать обратное. До этого я с энтузиазмом сохранял всякий собственноручно заполненный клочок бумаги, побеждая даже отвращение к собственному почерку и не расставался ни с черновиками, ни с набросками, храня всю эту дрянь в своем жилье, как какой-нибудь хомяк; полыхало, поэтому, весьма; злобно радовался тому, что такой смелый, сладко мучил себя, разглагольствуя что-де «только так и никак иначе» или что-то в этом роде, стремясь добиться боли от потери — уж если болит, так чтоб на всю катушку — испытывая еще и зависть к пламени, которому дозволено уничтожить моих духовных детей — это ничего, что уродцы, все равно дети; все, однако, повернулось иначе — не знаю, к счастью ли. Это огненное очищение меня быстро остудило, выдуло из меня все отчаяние и позволило хотя бы отчасти успокоиться и задуматься. О пропавших рукописях и не жалел, бог с ними: хотя в типографии они и обрели бы известную степень законченности — напечатанное слово кажется неизменным, утвержденным на века; но и тогда бы даже самый невзыскательный читатель забыл бы о моем труде, едва только перелистнул последнюю страницу (если бы его хватило на то, чтобы до нее добраться), даже выйдя в свет, труд мой не оказался бы в нем, потому ведь, что я не могу ничего дополнить, не в состоянии изменить что-либо, вмешаться в ход событий тоже не могу. Кому нужны мертворожденные дети? одно только сплошное разочарование, ведь в них видишь свое отражение, физическое продолжение... Все же, оставшись рукописи сжигать я уже не был согласен — так закоренелый грешник надоедает на исповеди умирающему со скуки священнику: это была такая чисто символическая жертва огню, создание иллюзии настоящего очищения. Потому что надо было иначе поддаться первому импульсу и уничтожать уже все, над чем я в то время работал, уничтожить перевязанные крест-накрест бельевой веревкой пачки с архивом, и немногие, гордо расположившиеся на полке книги с моим именем на обложке: стоявшие там, как реликвии, как продукты в холодильнике, — вот тогда бы это, может быть, могло изменить завтрашний день, поскольку выбило бы у меня из-под ног опору и, хочешь не хочешь, пришлось бы искать выход. Чтобы поставить метафорическую точку, после этого отрезка жизни действовать следовало как вандалу — пусть все рухнет,

пропадает, пусть рассыпется старый мир, а я сделал вид, что не помню о существовании кучи монстров в глубинах письменного стола, бессознательно придерживая их в качестве резерва на «всякий случай», вполне ощущая, что этот «всякий» в действительности окажется единственно возможным. Чувство того, что только что свел свои сче­ты, принесло успокоение, быстро перешедшее в восторг по поводу этого слабого героизма, и столь же внезапно, как я очутился в беспросветности отчаяния, я почувствовал рост такого клубка, что ли, нет, не клубка, чего-то, что тянет вверх, перехватывающего дыхание в том эфирном органе, кой романтики нарекли души, и всплески деятельности которого ощутимы физически. Все еще недобро ухмыляясь — «ну что там еще опять» — заправил в машинку чистый лист, размял пальцы — руки слегка дрожали, позволил выбежать на бумагу паре строчек и вот тогда только понял, что в самом деле нечто началось — неперезитое, еще неизведанное. Если днем еще только тарахтел на машинке однообразную, давно приевшуюся мелодию, то теперь пальцы извлекали из инструмента сонату, симфонию, что-то такое — пальцами сознание не управляло более, они быстро и самостоятельно следовали за словами: как бы то ни было, но с машинописью я управлялся блестяще, как министерская секретарша. Ироническая, позабытая ухмылочка «что там опять» зацепилась за губы, лоб покрыла испарина, и я, неожиданно удвоившись, в серьезном оцепенении как бы со стороны смотрел на то, как рождается Слово. Кажется, это было просветлением, впервые доставшимся и на мою долю. Если бы в тот миг я мог разделить физически — так же, как разделился духовно — то один из нас остался бы за машинкой, а второй бросился бы извлекать из ящиков письменного стола монстров. Страница оборвалась на полуслове, пальцы прилипли к клавишам, и я безо всякого сочинительства уже знал, что надо писать, словно текст был заложен в меня с самого рождения, и лишь недавнее отчаяние сдернуло крышку этого рога изобилия: слова вываливались одно за другим, и, чтобы не утратить нить, сомнений позволить я себе не мог. Сигарета, ожив, самостоятельно очутилась в углу рта, полыхнуло адское пламя, время ускорило, минуты сжались в секунды, сигарета моментально прогорев, обожгла мне губы. Так возник фрагмент без конца и без начала, связанный с персонами, по имени не названными, поскольку для быстроты обозначал их просто заглавными буквами — что, впоследствии, и определило судьбу моего ночного труда. Время исчезало незаметно, и уже десять, двадцать страниц покрывали стол и пол комнаты, отлетая даже непонятным образом в самые дальние углы — благоразумно, видимо, предполагая спрятаться. Окончил тогда, когда отказались — начав путаться в клавишах — слушаться пальцы; мое второе, творческое «я» сообщило: «это все, и что я способен», вновь соединилось с «я» наблюдающим, и симфония (или соната) начала соскальзывать на этукую полечку. Унял свою придурковатую ухмылку, обли­зал пересохшие губы. Взгляд проник сквозь занавеску и встретился с утренней зарей. Мимо окна прошел какой-то мужик с бензопилой на плече — не помню случая, чтобы у меня на отшибе в этукую рань кто-либо бродил (впрочем, верно и то, что в такие часы я обычно сплю, а не торчу у окна). Где-то за лесом жалостливо и надоедливо мычали телята. Прозвонил несуществующий телефон на несуществующей тумбочке. Взглянул на часы — впервые за всю ночь, хотя еще накануне с дотошностью бухгалтера фиксировал всякий миг, отданный сочинительству, в левом верхнем углу выставляя циферку, соответствующую затраченному на нее времени. Вошел в спальню и, будто узрев нечто сверхъестественное, уставился на неразобранную постель. «Вот так и только так писать надо» — перед своим исчезновением еще раз напомнило о себе мое второе «я».

Энергию экстатического творчества за ночь стер сгусток невинных кошмаров, так что проснулся я после полудня, решительно высосанный вампирами и одуревший, как с сильного похмелья. Брошенная в беспорядке рабочая комната, вся заваленная исписанными листками, показалась мне пугающе чужой, как накануне в свете зари противополо-

ственной показалась нетронутая постель; я оказался внутри каких-то бутафорских и подозрительных декораций (словно попал после спектакля за кулисы) — словно в западне, где у всякой мелочи свое назначение, и всё случайное на самом-то деле тонко рассчитано заранее; охваченный неприязненным чувством, собрал разрозненные листки и попытался сконцентрироваться на том, что прошлой ночью произошло из меня, но уже на первой строке, которая, к тому же, начиналась с половины фразы, — бог ведаст, что там было до этого — наткнулся на каких-то персонажей, которые, возможно, были даже не людьми, обозначенных Ф и В (ну ладно бы, хотя бы, Н — это еще можно понять!), и в результате этого во мне возникло невыразимое отвращение. Каждому существу положено безропотно нести свое имя, в литературе имя человека предопределяет его поведение, а иначе и быть не может — это же основа основ, так что в тексте, в котором функционируют только буквы, эти двухмерные проекции слов, смысла быть никакого не может — вот мой евангельский краеугольный камень тогдашнего времени. Совершенно дурацкий поступок: сжечь труды многих дней, надеясь заместить их одной ночью длительного перенапряжения и бреда, накрученным за одну эту бессонную ночь. Я собрал эти листки по всему полу, какое-то мгновение колебался — может быть, поместить их в какую-нибудь папку без опознавательного знака, но отвращение все-таки взяло верх — листками я растопил плиту и сварил крепкий кофе, который отчасти восстановил во мне утраченное равновесие, так что уже к вечеру я был в силах приступить к восстановлению пожертвованной вчера огню рукописи — память у меня хорошая, этого отрицать нельзя.

Последовавший чернорабочий труд помог мне смыть с души эту ночь кошмаров, ее — так я смотрел теперь на это, — остатки. Слово отзывалось словом, фраза извлекала из памяти следующую фразу, строчка возвращала в мир следующий абзац, дневная норма перекрывалась в два и в три раза, и в рекордные сроки я восстановил своего монстра слово в слово — столь же нежизнеспособного, что и раньше. Я уверил себя в том, что я спокоен, совсем спокоен, совершенно спокоен, абсолютно, как заморозки, спокоен, и не рассчитывая вовсе на то, чтобы положить на спокойствие как вдохновение, но убедив себя в том, что «спокойствие» есть проявление моей сущности, устроил в соответствии с этим словом всю свою жизнь, не принимая отныне во внимание те бурные и хаотические процессы, происходившие во мне на самом деле. Двойной костер оставил наследство опасное, тому неизбежно следовало напомнить о себе: ладно бы только напомнить — оно могло взорваться, стереть меня с лица земли, все равно — раньше, позже, через год, десять лет или тридцать. Забвение ночного урока было ничем иным, как защитной реакцией организма, от умственной деятельности не зависящей; точно так же и боль внезапного ожога достигнет сознания лишь после того, как будет выполнен приказ отдернуть руку от обжигающего предмета. Где-то за загородкой из слов «спокойствие», «режим дня», «труд» и тому подобным бурлили эмоции, которые не поддавались словами и поэтому для меня не существовали. Я вновь разделился, только существования своего другого «я» не ощущал, то есть, точнее сказать, не желал замечать, потому что на сооруженной из слов основе покоилось только то «я», которое с редкостным тупым упорством работало с рассвета и до темноты, определенные часы отводя для отдыха на свежем воздухе, хотя на самом деле работа была только видом инерции, ничем кроме, но доказало это себя только впоследствии.

В принципе неважно, описываю ли я свое прошлое или убедил себя, что описываю и точно, а на самом деле переделываю все заново, не чувствуя, как лгу на каждом слове и другим и себе самому, или, руководимый импульсами из прошлого, сознательно пытаюсь создать нечто, не существовавшее вообще, ведь никакой закоренелый сторонник истины ничего уже не сможет проверить, ведь единственный свидетель внезапного просветления — загадочная рукопись — давно уже прогорела в печке, да я и не могу быть уве-

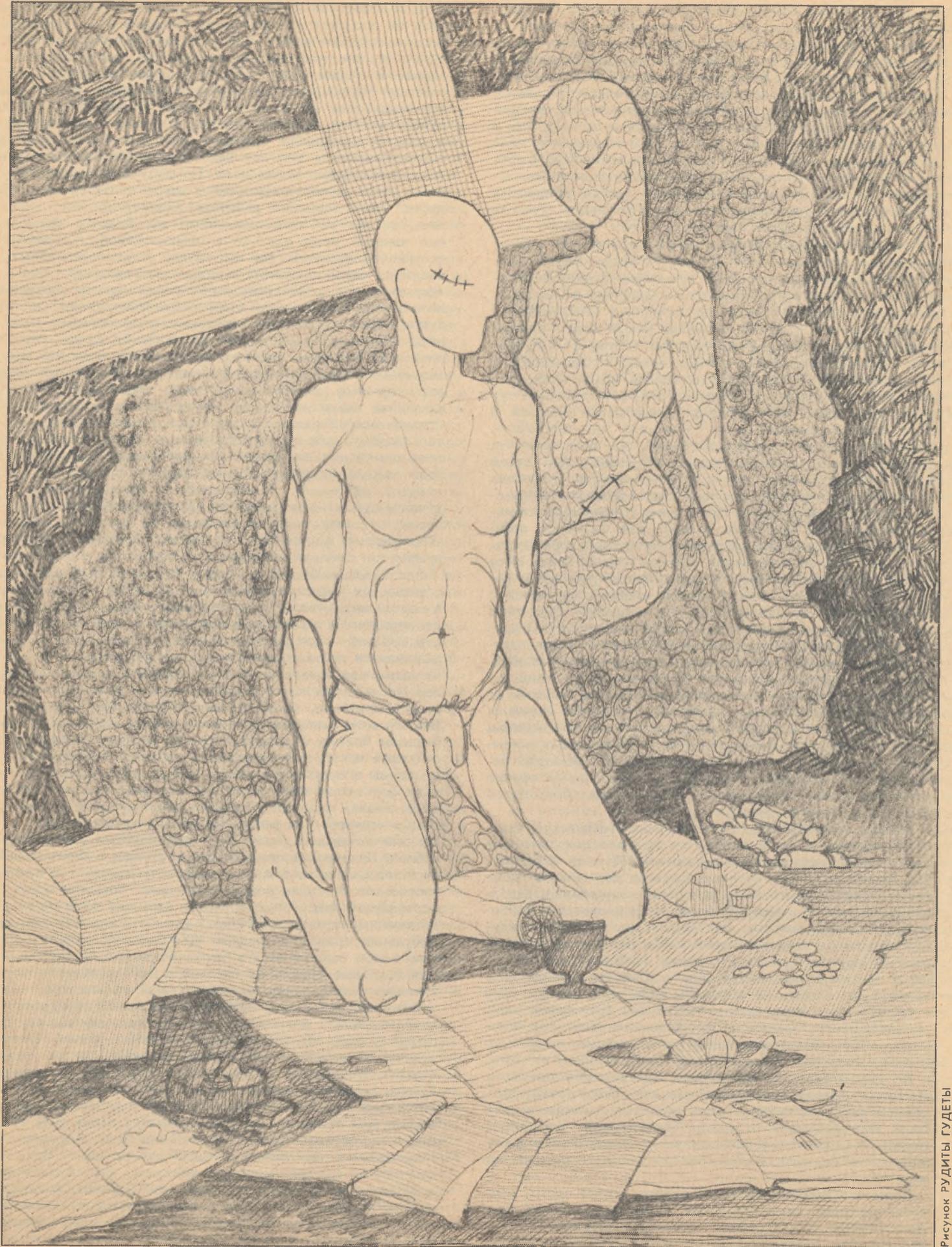


Рисунок РУДИТЫ ГУДЕТЫ

рен в том, что действительно создал в ту ночь что-то серьезное — очень даже возможно, что писалась рукопись не кровью души, но, как это кажется мне иногда, был там лишь бессмысленный набор истеричных слов, достойный разве что пера шизофреника; но и то: бессмысленный, а следы оставил — неискоренимые. Мое «раньше» настолько отличается от моего «теперь», что подобный перелом необходим для обоснования такого несходства, а если бы я растянул его в долгую эволюцию, с помощью которой попытался бы объяснить эволюцию себя (что в меньшем масштабе будет иметь место ниже), то эта внятная разница незаметно растворилась бы в потоке слов и событий — зачем устраивать долгие монологи и монороманы, если все это можно сгустить в рассказ, введя момент перелома.

Сжигание рукописей занятие уже и само по себе сентиментальное донельзя — что выясняется позже, едва осядет взрыв самоотрицания, и потому лучше два подобных мероприятия сблизить, по возможности осуществив их одновременно, что, впрочем, также не устраняет сентиментальность, разве что открывая кое-какой новый аспект вечной традиции торжественных казней бумаг. Метафора кратчайшим образом приводит к банальностям и сантиментам, с недавних пор я панически опасаясь обеих этих букв, но — как легко увидеть — напрасно, ведь самое ужасное тут в том, что даже не сам автор оказывается повинен в своей заметафоризованности, но именно что читатель — которому подавай только метафору, да позажеваннее; довольно только записать один-единственный день своей жизни, зафиксировать его с педантичностью счетовода (позволительно даже осуществить классификацию материала и составить таблицы) — очерк будет восприниматься исключительно как метафора, и чем суше окажется повествование, тем сильнее попрет из него метафоричность. Иной раз, все же, метафору удается уравновесить. Что может быть непристойнее эпизода, когда усталый в результате творческой ночи и пустой взгляд встречается с несущими надежду лучами восходящего солнца? Что с того, что у солнца есть обыкновение всходить по утрам, неважно — образуется банальнейшая метафора, от которой следует пуститься наутек, но если наряду с рассветом в окне обнаруживается проходящий мимо мужчина с бензопилой на плече, если трезвонит мистический телефон на отсутствующей тумбочке (любопытно, во что бы это явление перешло, если бы я и в самом деле установил у себя в изголовьи тумбочку, а на нее водрузил телефон — без проводов, конечно?), то банальность уравнивается с помощью непонятного — мужчину с бензопилой на плече трудно раскусить, даже если он всего-то, что мужчина с бензопилой на плече в лучах восходящего солнца.

Теперь, наконец, черёд вариациям на трагическую тему, по отношению к которым трагические пассажи, имевшие место выше, служат лишь введением. И если событиям нескольких лет я отведу места столько же, сколько событиям одной ночи, то есть этому свое оправдание: заповедность этих лет однообразием каждодневности, их постоянная повторяемость; эти годы можно вмести в единый год, цикл, квинтэссенцию — большинство их деталей смысл потеряло, кроме нескольких наиболее заметных — да и им также была присуща склонность повторяться, каждый раз в слегка измененном виде, но сохраняя свою суть. Эти годы, зеркально повторяющие друг друга, лишь продолжили и завершили то насильственное изменение меня, которое было начато той ночью, так что вполне достаточно наметить здесь лишь их главную линию — поток, а не исключения, не случайное стечение обстоятельств. По правде говоря, мне окончательно не ясно, почему выбран именно этот вариант — из всех тех, которые можно было бы соединить с моими сочиняемыми воспоминаниями; что-то меня в нем волнует — гротескность? патологичность? скрытая цикличность? — делая его единственно возможным.

Завершив переписывание по памяти копии своего сожженного труда (именно копии, а не другого, похожего произведения — любое единожды написанное и, казалось бы, забытое слово на самом деле так, как кис-

лота, въедается в подкорку, что крайне трудно изменить хотя бы только строение фразы, малейшее несовпадение бесит, вызывает внутренний зуд, нестерпимое беспокойство, и все это проходит лишь после того, как восстанавливаемое в точности совпадет с бывшим ранее — может, поэтому утверждают, что рукописи не горят: какими бы дрянными они ни были?), я впал в такую духовную прострацию, что ли, абсолютно безразличный к себе и к окружающему, прекрасно сознавая, что нет ни малейшего смысла писать в том же духе — все уже давным-давно сказано и сказано лучше меня. Поэтому я дал обстоятельствам волю распоряжаться моим телом на их усмотрение, пустил свое сознание работать вхолостую, — не протываясь, голоса не возвышая, плыл по течению времени, оно привело меня всего-то к обыкновенной, совершенно несурзадной женитьбе (на что только не способен изнывающий от скуки человек? я опять полагаюсь на слово — «скука», хотя в действительности это просто духовная импотенция). Без писаний (творчеством назвать это трудно) дни мои были пусты и бессмысленны, а что способно заполнить собой ежедневность, придав ей смысл, лучше, как не женщина? Как я уже сказал, здесь не важно ни то, как я познакомился с ней, ни то, как продвигались наши отношения, ни, к примеру, цвет ее волос: даже такая мелочь влечет за собой слишком многое — цвет вороньего крыла, например, ассоциируется с цыганским темпераментом — автор, поэтому, либо вынужден умножить число литературных темпераментных женщин, либо отвести страницу борьбе с этой ложной инерцией; только также и платиновый цвет наводит на мысль об абсолютной нежности либо — в лучшем случае — на изощренное коварство. Откажемся, поэтому, от цвета волос моей жены, от ее объема талии, темперамента и привычек — пусть любой из читателей придумает это сам, руководствуясь имеющимся у него опытом.

Рай медового месяца в шалаше — в моем сельском доме с дырявыми углами, проходными комнатами — двери тогда я еще не заколотил: все это чудесным образом в самом деле напоминало настоящий медовый месяц со всей его внешней атрибутикой — ненарушаемым извне одиночеством вдвоем, валянием в постели до полудня, милованиями то и дело, птичьими серенадами росистыми утрами за окном и так далее. Последствия легко устанавливаются с помощью простой железной логики, поскольку ничего иного быть и не могло. Белые листы пылились в ящике письменного стола — свое безделье вначале оправдывал хмель медового месяца, рассчитывая на то, что женщина постепенно переродится из женщины в музу, и все постепенно встанет на свое место, в то же время осознавая, что это невозможно (сейчас я бы сказал так, что «раньше» уже частично превратилось в «теперь»), но все равно на что-то еще надеялся — а что мне оставалось, если ни к чему другому я не приспособлен? Гонорары иссякли, кошелек отошал, и весь дальнейший ход ежедневной жизни наводил на мысль, что в моем творческом бессилии повинна женщина — именно из-за ее постоянного присутствия я часами бестолку торчу за своим письменным столом, в лучшем случае отягчая мир какими-нибудь очередными глупостью либо банальностью, кои прямым ходом оказываются в печке. Возможно, в иной ситуации подобные обвинения оказались бы спасением — серьезная потасовка, солидная выволочка, после которой у жены под глазом синяк, а сам — не досчитываешься изрядного количества волос: все это могло бы оздоровить наши отношения, только мы, к сожалению, были испорчены общечеловеческой этикой, так что я, как завязтый скряга, только и делал, что открыто и старательно собирал всякую крупинку зла, радовался любому поводу, который позволял укрепиться моей убежденности в том, что во всех грехах повинна именно она — виновность суть особая духовная категория, о наличии которой обладатель ее обычно и не догадывается. Отделенность двух людей от мира создает между ними такую что ли его уменьшенную имитацию, в которой место действительно потрясающих событий занимают мелочные недопонимания, когда любой пустяк обретает неожиданный вес, лишь только двоим понятный смысл, а всякое ненароком отпущенное словцо больно отзывается через неделю или

месяц. Одиночество вдвоем среда наиболее благоприятная для взаимной грызни, и в этом занятии, кажется, мы обрели потрясающий профессионализм (например, жена принялась после обеда — за чаем или кофе — рисовать на тарелках дурацкие карикатуры губной помадой; регулярно закупаала для этих целей по десять-пятнадцать карандашиков). Где обретишь удовлетворение, большее того, которое получаешь, обнаружив, что твой как бы невинный и непреднамеренный кивок или взгляд вызывают в твоём противнике тщательно скрываемый им взрыв, энергия которого, в свою очередь, воплотится позже в такой же взгляд, кивок или слово, тем самым подтверждая твою убежденность в том, что этот вот, второй — самое несносное и непорядочное существо в мире — тем более, что ваш мир и состоит-то из двух человек.

Трудно сказать, сколько бы мы таким образом еще грызлись, пока не замучили бы друг друга окончательно, но тут обнаружилось, что во внимание следует принять еще одного грызуна — болезнь жены, одну из этих дрянных болячек, порожденных цивилизацией, которая долгие годы может незаметно теплиться в организме, выжидая удобного момента, чтобы за пару месяцев высосать из человека жизнь. Исход был предопределен — о чем свидетельствовали и чрезмерно серьезные уклончивые речи докторов, и лошадиные дозы лекарств, да и чуть ли не до середины зимы ничем не могла помочь и больница. С ужасом я наблюдал, как она тает — как слабеет тело, как убывает лицо; во взгляде появился фанатичный блеск, волосы свалились и стали тускло-серыми. Вполне поняв выразительные взгляды врачей, я почти что с облегчением поместил пишущую машинку в футляр и приготовился всецело отдать себя последним дням жены (вот еще причина, чтобы выйти из-под власти белого листа) — вспыхнула притухшая было любовь, и ночи напролет я изнывал подле ее постели (точно так же, как недавно еще за своей машинкой), в любой момент готовый протянуть руку и напомнить ей, что я здесь, рядом. Днем в дом неотвратимо врывается крикливая, ссохшаяся фельдшерка: запоминая каждую пикантную деталь отношений живого писателя и его полуживой жены, превознося свои шприцы и ампулы; иной раз, если водились деньги, я позволял десятке скользнуть в карман ее халата; редко, зато всякий раз надолго заходил и подбадривающе суетился маленький, грациозный врач с золотыми передними зубами — этому я не давал ничего, потому что все что он делал — снимал пальто, вытягивал свой нос и всякий раз заново и целеустремленно рыскал по кухне в поисках куда бы его пристроить — не умея, кажется, обнаружить гвоздь, вбитый в стену женой. Из ее уст не доносилось ни безнадежного вздоха, ни стопа, она не оплакивала свою судьбу, но медленно дыша угасала, становясь все более немощной и незащищенной, поддавшись болезни и смирившись со всем. Я никогда в жизни не ощущал настоящих страданий, а на бесконечные жалобы коллег по перу на желудок и нервы взирал с высот своего железного здоровья весьма иронично; теперь же я пожалел, что не обременен какой-либо внутренней хворью — чтобы, по крайней мере, ощутить с женой нечто общее: сочувствовать только мне было мало, потому что она казалась настолько оторванной от однообразных ежедневных забот, столь просветленной своей болезнью, что моя игра в сочувствие выглядела скорее кощунством, чем поддержкой. Я почти завидовал ее страданиям, с помощью которых она могла ощущать свое превосходство надо мной, жаждал соответствовать ей хоть в мелочах, так что, наверно, это получилось не вполне случайно, что рука моя дрогнула, и мою ладонь прополосал хлебный нож — грациозному доктору пришлось наложить два шва; или споткнуться на ровном месте, сильно потянув связки на щиколотке так, что после пришлось три дня ковылять, хромая, — вывих или перелом меня, разумеется, ослепотили бы больше, но что поделать, приходится довольствоваться тем, что есть. В качестве серьезной награды воспринял бессонницу после долгих ночей дежурства возле жены, чрезвычайное удовлетворение доставлял мне ритуал ежедневного поглощения нервных таблеток, прописанных мне врачом; в то же время я ненавидел себя за эти пародии на страда-

ния — за то, что вся моя активность есть ничто иное, как ожидание смерти жены, но все равно отчаянно любил ее, с благодарностью откликаясь на ее малейшие капризы, ради удовлетворения которых иной раз приходилось просто вон из кожи лезть. К весне ближе грациозный доктор и крикливая фельдшерка в один голос приняли декламировать фатальную формулу, что-де «современная медицина тут бессильна» (где еще такой бессердечный штамп мог возникнуть, как не в среде медиков), вызывая во мне тихие и бессильные вспышки ярости. Иногда забредали гости из метрополии и, хлебнув коньяка, сочувствовали мне, клали руку на плечо, добывали недостижимых врачей и недоставаемые лекарства, одалживали денег сколько ни попросишь и, ощущая себя счастливыми, поскорее исчезали прочь. Тут, совершенно внезапно, здоровье жены начало улучшаться; вначале, впрочем, мы восприняли это как провозвестника грядущей агонии, но стоял снег, прилетели скворцы, на деревьях распустились листья — жена расцветала вместе с весной (соответственно изменилась и формула медиков: «и в наши дни иной раз случается чудо»), в мае она чувствовала себя уже ожившей вполне, самостоятельно ходила и занималась хозяйством. Вообще-то, врачи советовали оставаться настороже — здоровье вернулось, но ведь болезнь-то никуда не исчезла, залегла только глубже, предлагая через короткий период передышки лечь на некую серьезную и сложную операцию.

Наступил наш второй медовый месяц, еще более хмельной и безумный, нежели первый; я ощущал себя растроганным до глубины сердца и обожествлял свою жену — но и он длился не более месяца, летний жар еще не спал, а жена начала становиться все более задумчивой и печальной и начала опять таять; в этот раз все это выходило еще ужаснее, потому что память прекрасно сохранила контраст весенней сказки с адом прошедшей зимы. Значит, врачи все-таки правы, думал я, просто кратковременное улучшение, последний подарок судьбы. В ту осень мы еще тайно верили в выздоровление, теперь же я прекрасно осознавал, что надеяться тщетно: чудеса происходят, но не повторяются, и, соответственно, более прохладным и сдержанным стало поведение врачей, поскольку для них улучшение с последующим ухудшением свидетельствовало лишь в пользу начального диагноза. В жене вновь таяли жизненные силы, задиристость пропала, сменившись капризностью, она слишком полагалась на предстоящую операцию, отчего стала невыносимо мелочна и вздорна, утверждая, что когда-нибудь мне еще за все оплатит — потом, после операции, а я в негодовании стискивал зубы, чтобы сдержаться и не ляпнуть, что этого «когда-нибудь» у нее не будет. Жена так и заявляла — может, дескать, она хоть раз в жизни побыть капризной, и чтобы ее баловали: она превосходно использовала преимущества своего положения; иной раз у меня даже возникали подозрения, что она переигрывает, преувеличивая свою немощность, но все равно, полный альтруизма, бросался удовлетворять всякую ее просьбу, любую фантазию и каждую прихоть, какими бы дурацкими они ни казались: на самом деле запретил себе все, чтобы только доставить ей хоть малейшее облегчение и радость — потому что знал, что вскоре всему этому придет конец и даже жаждал этого, а жена лишь ощущала, свои ощущения не выражая в словах, утаивая правду от себя самой, маскировала ее разговорами о нашем счастливом житье «после того», после операции, когда наступит момент освобождения (а я, в свою очередь, тоже ожидал наступления освобождения — но ее смерти). Все чаще мое желание услужить превращалось в бездейтельное и мрачное созерцание в кресле у кухонного стола — часами я петлял в одних и тех же словах, неминуемо возвращаясь в исходную точку — к жене, которая тем временем полностью отдалась течению болезни, примирившись со всем, всему подчинившись — даже тому, например, что я, увлекшись однажды своими мыслями, задержался с обедом чуть не до полуночи — хотя что такое один обед — ерунда, маленькая добавка к страданиям. В бдениях у кухонного окна бесконечно повторял и месяцами варьировал одно и то же, то завидуя жене и жалуясь самому себе на тяжесть взваленного на меня креста, то

жалая ее и уничаясь за только что проявленную зависть; смотрел на мир ее глазами и старался говорить то, что она хочет слышать — но, может быть, это она смотрела моими глазами и говорила то, чего жаждал слышать я — дабы насладиться собственным ничтожеством: кто знает; тогда все так перепуталось — отчаянная любовь и самоуничижение, зависть к выгодам страдания и жалость к жене — ничего теперь уже не отделить и не расшифровать, несмотря на то, что моя писательская зараза иной раз заставляла меня зафиксировать на маленьких листках ход развития болезни — а вдруг, кто знает, пригодится впоследствии. Завидовал медикам за то, что им все ясно и известно, лучше, чем мне; вспоминая — купил даже книги разного медицинского содержания, чтобы блеснуть своей многогранной эрудицией. Пищущая машинка по-прежнему пребывала в футляре на шкафу — я даже и не пробовал взяться за что-нибудь всерьез, оставляя все на позднейшее время — не у каждого, все-таки, смерть по соседству (втайне уже называл задуманный роман, в котором предполагал использовать свои заметки, именно так: «Смерть по соседству»). Подобно жене, я планировал будущее, употребляя категорию «после того», но в моем понимании она не обозначала «после выздоровления», — но «после ее смерти» — на самом-то деле ее смерть я пережил уже в ту зиму, теперь же только до донышка избывал ожидание; я даже разузнал про все эти неприятные формальности, связанные со смертью, и купил прекрасный гроб из ценной древесины, разместив его на чердаке.

Все, все равно, происходило своим чередом, независимо от нашей на то воли и желаний. Операция и шесть недель, проведенных в больнице еще более измучили жену, но тут повеяло ранней весной, и она внезапно опять начала выздоравливать, я почувствовал себя отчасти одуроченным и обманутым своими планами — роман опять отходил на будущее, поскольку чувство долга заставляло отдать все силы очередному медовому месяцу, чтобы, таким образом, достойно отметить возвращение жены к жизни. Самое неприятное началось после того, как она обнаружила на чердаке гроб. Тщетны были все мои уверения, что тот остался в наследство от прежних хозяев — светлая, блестящая лакировка, но стершаяся позолота вполне говорили за себя, так что жена могла теперь торжествовать, так как узнала мою злодейскую сущность до самого конца — тем более, если учесть, что однажды утром застала меня за приведением в порядок разрозненных заметок о ходе болезни — и не было теперь дня, чтобы она не вставила какую-нибудь очередную шпильку касательно того, что я жажду увидеть ее в гробу и медленно убиваю в этом захолустье — слова на редкость пригодны для подобных ядовитых укусов, тем более, что я создавал, что возражений найти не в состоянии, поскольку устами жены глаголила сама истина — я ведь и в самом деле нередко думал: чтоб ты сдохла, а не висела камнем у меня на шее. Слова отправляли нас в толчею бесконечных споров, разлетались брошенные об пол тарелки, а денег, чтобы купить новые, не было — угнетали гигантские долги, знакомые кредиторы, прознав о выздоровлении жены, принялись слать холодные и вежливые напоминания, а ожидаемое «после того» не наступило ни для нее, ни для меня — все попытки написания романа заканчивались все тем же — печкой. По соседству помер старичок, гроб за полцены удалось сплавить его родственникам — так, хотя бы, были отчасти улажены моральные долги жене. Вполне всерьез рассматривал возможность переквалифицироваться в разнорабочие, куда-нибудь в дальние леса или стать мелиоратором, лишь бы только от дома подальше — на что мне постоянные сомнения и ответственность за всякое сказанное слово? еще недавно полагал, что бросить писательство совсем просто: стоит только убрать с глаз долой машинку, пусть там себе ржавеет, бумагу и рукописи использовать в туалете, и дело сделано; но именно теперь, когда уже долгое время не удавалось доверить белому листу ни строчки, зараза писательства зашевелилась в моей душе. Я чувствовал, что нечто возникает, бурлит, пузырится, что-то объединяется и соединяется в дальние закоулки сознания, перехватывает иной раз дыхание, заставляет сердце танцевать в ритме

марша. Но на бумагу выплескивались привычные, затверженные фразы, которые раньше я бы пустил развиваться далее — вовсе не стыдясь чистой бумаги; теперь же это возникающее и пузырящееся казалось несравненно богаче, нежели давно намозолившее язык. К сожалению, я так и не узнал, что за слова мое сознание собиралось впустить в мир, поскольку наступила осень, и я, от злости едва не сойдя с ума, обнаружил, что уже, казалось бы, вполне цветущее здоровье жены иссыкает вновь. Снова то же самое: осунувшееся лицо, медлительность движений, всепрощающее смирение, непостижимый, обращенный в себя взгляд. И опять я не существовал для нее как человек, но был лишь обслуживающим механизмом, и чем более она отъединялась от меня, тем прочнее я снова влюблялся в нее, продолжая по-прежнему возвращаться в исходную точку нашей совместной жизни. Внешним проявлениям ее болезни было свойственно нечто родственное религиозному фанатизму — крайняя сконцентрированность на себе, будто она видела нечто, невидимое другими, возвышенная просветленность и отказ от преходящих благ — в иные времена, возможно, из нее получилась бы образцовая монашка. И опять сквозь мой дом пронеслась неизбежная фельдшерница, осыпая нас очередными порциями слухов, наведывался сочувствующий, грациозный врачик, а жена рассуждала странно и покорно: «если я в этот раз умру» (в этот раз! ну да!), «когда меня уже не будет» или «зря гроб продали, новый придется покупать», присоединяя к подобным речам перечень совершенно неисполнимых распоряжений, пристегиваемых к термину «последнее желание» — каковые она весьма полюбила повторять и бесконечно варьировать, тем более — если возле постели с верными и заплаканными глазами сидел кто-либо из отдаленных родственников — одно время они повадились к нам друг за другом: бравшиеся невесть откуда, невесть куда исчезающие, словно фантомы большого мира в моем перевозбужденном мозгу: с безумно яркими апельсинами и непонятными рецептами цветочных чаев. Трагедия обращалась в фарс под названием «последнее желание» — включавшее в себя просто коллекцию абсурдов, и я, право же, просто не знал, с чего начать, если бы она и в самом деле умерла — опять ведь ниоткуда явится целая когорта людей, высоко чтящих кровное родство, указывающая на меня пальцем и крича, что вот-де он не исполнил последнего, самого святого желания своей жены, а я стоял бы и решительно не понимал, как возможно исполнить собрание этих приказов и просьб, где одновременно присутствовали просьба развеять прах по родным полям и требование установить надгробие из белого мрамора с голубыми прожилками возле дома, за кустом белой сирени; мда, особенной оригинальностью моя жена не отличалась никогда, но в последних желаниях переплюнула саму себя.

Если мои знакомые удивлялись, почему я не развелся еще до сих пор или просто не бросил жену: «это, возможно, звучит цинично», — размышляли они, но: «одним так и так умирать, а другим приходится жить», я панически бежал подобных мыслей, слов, которые бы вызвали действие, которое, в свою очередь, нарушило бы естественность хода событий. В первые годы болезни жены я нередко с трудом удерживал себя от того, чтобы не выгнать взащей докторов, в очередной раз вдыхавших в жену жизнь — пусть оставят ее в покое, что должно происходить, то пусть и происходит, но позже пришел к выводу, что все это ничто иное, как некий отголосок моих богобоязненных предков, так как вмешательство врачей является частью естественного для данной эпохи хода событий, так что любое мое противодействие ему было бы нарушением этого порядка. Может быть, именно поэтому я так отчаянно держался за свой домик, за свою опору и ось симметрии — трубу, вокруг которой можно было бродить по замкнутому кругу, ничего не меняя и не влияя ни на что. Результатом этой отчужденности явились люди, кривящие меня чуть ли не убийцей, одна только жена — и не только в дни болезни — подчинялась всему, ничего не пыталась избежать, не боялась ничего — и для нее тоже все это было лишь естественным, неотвратимым ходом событий.

Стиснув зубы в твердом намерении пробить стену лбом,

вновь сел за стол перед белым листом бумаги, но на том появлялись лишь каракули — карканье, скрип, козлиное бляение: здесь, от гармонии вдалеке, рождались лишь нелепости, и самое плохое было в том, что, как я осознаю теперь все это безобразие — неотвратимое последствие той далекой, едва сохранившейся в памяти ночи. Голова гудела от табачного дыма, выбросив свой запас успокоительных таблеток, я отдался на волю бессонницы и корпел ночь напролет, но листы покрывались не буквами, а черточками, крестиками, квадратиками — все возможные виды закорючек, чудный улов для психиатра, который вполне мог бы извлечь из них гладенькую историю болезни, которая, в свою очередь, могла бы послужить удачливому литератору в качестве основы для романа. Менялся мир, становился пальчае-огненным: чайник на плите уже не насыстывал себе мирно в вечерних сумерках, но густо выл или орал от дичайшего ожога; нагая лампочка корчилась на конце шнура, разбрызгивая искры; в углах, унюхав мою слабость, завозилась нечисть. Месяц в левом верхнем углу окна облучал меня резким стеклянным светом. В темной сырости ночи через две стены мне было слышно движение жены, и не раз среди ночи я бросался к ее кровати в страхе, что дыхание прервалось — не в страхе смерти, но опасаясь злых, осуждающих взглядов в каплице, этих кружев, которых скорбящий муж обязан расправить вдоль гроба, невыносимой, бесконечной тишины по возвращению домой. Белый лист высасывал мои силы, а если бы на них перешла вся выделяемая в пространство и рассеивающаяся энергия, то листы бы вспыхнули адским огнем. Под утро внезапно ожил хромой письменный стол, отодвинулся от подоконника, на который опирался одним углом, и, под тяжестью моего локтя рухнул, расшвыряв листки с закорючками по всей комнате. Мышцы болели и отказывались поддерживать тяжесть тела, под ребрами ныли какие-то внутренние органы, о существовании которых я узнал только теперь, по этой ноющей боли, а к утру о себе заявила уже и она, но как: тихим и невзыскательным, примиренным вздохом, тихим стоном — но все же достаточно громко, чтобы ее услышали; согласившаяся со всем мировым злом, полуслепая, с опухшими от сна глазами, уверенная, что всю ночь я работал, а она лишь помеха, но все же — прося свою часть забот. Может быть, она рассуждала совершенно иначе — что хватит мне предаваться радостям творчества, пора начинать жить, кто знает, не могу ощутить, что она думает в часы тишины, между теми моментами, когда изрекает очередные последние желания; я закладываю в ее сознание свои слова, забывая о том, что слова это только эрзац мысли — решил, что «жертвую» и строю свою жизнь в соответствии с этим словом. Если некто играет, изображает, притворяется, то это всего лишь игра, дурачество, выпендрёж, но если так поступают все, то игра становится действительностью, а действительность оказывается игрой. Мы с женой вдвоем обитаем в одном мире, в сельском доме с кухней, тремя комнатами и закутком, и наша действительность спрямилась, изуродовалась, потеряв сложность и разнообразие; мы не принимаем участия в сооружении действительности, но идем у нее на поводу, маршируем под чужую музыку — все оказывается predetermined заранее: очередное ухудшение здоровья, чему следует непроглядно заполняющая мир тишина, сочувственные взгляды, растянувшиеся на месяцы, крайнее напряжение чувств, когда мечешься из одной крайности в другую — и так до очередной передышки, после которой неминуем очередной период взаимной грызни. Болезнь так искусно обустроила наш мир, что я ничего пока не меняю, сочиняя ее заново (так на заводе можно заменить какой-нибудь механизм другим, похожим, а продукция будет прежняя); в первый год мы еще не осознали, что играем по заранее написанному сценарию, который я и пробую на этих страницах воспроизвести, но все одно — правила придуманы уже были, оставаясь в силе все последующие годы. Тихо и неуловимо скользила жена по комнатам, иссушенная болезнью и однообразием, опиралась прозрачными пальцами о стены, лёгонькая такая, что истаявшее тело неудержимо рвалось вверх, и она удерживала себя пальцами ног за пол; дрожь на сквозняках, скользила по комнатам, кружи-

ла по дому, снова и снова возвращаясь, и, закашлявшись в прокуренном воздухе, отрывала меня от листа этим своим незаметным, казалось бы, но явственным присутствием, сверлила мой затылок своим серым взглядом; и вновь открывается дверь, колеблется на ветру язычок пламени — это ничего, что свечи не было, а дрожит сама она, в своей ночной рубашке — ах да, не было и просторной и светлой ночной рубашки, был только тяжелый и пропотевший, резко пахнувший халат с гигантскими, без стеблей, цветочками; не халат даже, по правде говоря, а моя старая бумажейная пижама, которую от всей души не выносил — с угловатыми плечами и бедрами, жена, конечно, не кружила по дому, а слишком часто отправлялась в пристройку, где располагался туалет, или тут же, на кухне, присев возле холодильника, тупо глядя в пустые полки, после чего обреченно — опять обреченно! — соглашалась с холодной пустотой холодильника и возвращалась в постель.

Меня же все более мучала и поучала метафористичность мира — стоило лишь ветру завывать в трубе, как, в зависимости от душевного состояния, это могло быть истолковано на совершенно разных уровнях: от «воют волки в заснеженной чаше» до чуть ли не «стнов замученного человечества», вот уже и тень моя на кухонной стене двигалась «угрожающе», а через мгновение уже — «заставляющая сожалеть о ее беспомощности»; выпавшая из рук вилка ударялась о пол иной раз «предупредительно», а иногда «отчаянно» — мир, гигантский инквизитор, выплевывал мне вслед десятки тысяч слов, и ничего уже не происходило «просто так», все вдруг обретало какой-то скрытый смысл, немедленно стремящийся перейти еще в какой-то, ничто более сказанным словам подчиняться не желало — с каждым мигом все перепутывалось и запутывалось, и я, несчастное человеческое существо, метался в кутерьме метафор, стремясь отыскать те воротца, которые привели бы к смыслу единственному и неизменному. Схваченное и зафиксированное тут же скользило из рук, обращаясь в свою противоположность — не зря ведь я так прочно держу в памяти, что кухонный стол с отломанной ножкой принялся «хромать», а «восход солнца» не означает восход солнца, но «заря новых надежд» или — наоборот — «начало очередной категории»; от пошлости этих мутило, и с трудом удерживался, чтобы не покрыть этой метафорической блевотиной невинность белого листа — достаточно уж он натерпелся, хватит с него отбросов человеческого ума, сохранил его от себя, по крайней мере. Или я действительно ничто иное, как рупор банальностей: один «я» по ту сторону сознания их бормочет, а я здесь — служу ему усилителем? Хватит, запрещаю себе собирать, стравливать, гробить метафоры банальные и звонкие в надежде на что-то, рассчитывая невесту на что.

Так вот годы и шли — любил и ненавидел жену, любил и ненавидел себя, любил и ненавидел слова — и всё это от всего сердца. Кажется, лишь в моменты подобной бесконечной безнадежности человек имеет шанс войти в самого себя до самых недр ада, и нет для литератора ничего более благоприятного, чем до окончательнейшего похмелья упиться чувством своей ничтожности. Настал тот чудесный миг, которого не ожидал никто: осенняя лихька, листопад, мерзлые комья земли под ногами, очередной месяц в больнице; я уже смирился с неизбежным и размышлял, где бы добыть денег — жена возвращалась из больницы измученная инъекциями и воздухом, пропахшим лекарствами, но тут, внезапно — наперекор всем прогнозам врачей — ожила. После такого неожиданного улучшения мы ожидали особенно тяжелого кризиса, но природа сыграла с нами совсем уж дикую шутку — волосы вернули себе блеск и пышность, глаза же, напротив, стали тусклыми и невыразительными. За пару месяцев жена явно выздоровела и, не обремененная своими страданиями, валялась по кровати, зарывшись в книги и по-дурацки иронизируя над моими ненаписанными трудами. Под Новый год за подобное дурацкое высказывание я закатил ей приличную оплеуху — и почувствовал себя по-настоящему удовлетворенным. Жена начала полнеть, впавшие щеки стали весьма округляться, начали портиться зубы, а на животе образовались первые складки; по ночам — теперь мы опять спали вместе — храпела и ля-

галась. Взяла на себя приготовление обедов и побуждала меня писать, не теряя времени — поскольку чувствовала себя отчасти ответственной за гигантскую сумму долга. В конце концов даже устроилась на работу в какую-то контору, каждый вечер вкратце пересказывая последние сплетни, настаивая, чтобы я записывал самые пикантные эпизоды — пригодятся же.

Неужели эта чужая и нестерпимо глупая женщина действительно была тем эфирным существом, которое покачиваясь бродило по дому, опиралось прозрачными пальцами о стены, дрожало на сквозняках? Во мне росло недоумение, и теперь уже всамделишный гнев против этой весьма упитанной особы в обтягивающей юбке, которая тут, неизвестно по какой причине, крутится вокруг меня, портя мне нервы пустой болтовней. Я чувствовал себя весьма одуроченным — ушла бы лучше на тот свет, я бы поскорбел, поскорбел, глядишь — даже бы установил надгробье из белого мрамора с голубыми прожилками и всю свою жизнь поминал бы ее теплым словом, а тут такое разочарование, и в бесконечной скуке влачатся дни, оставляя за собой след из ненаписанных страниц.

Чем теснее я соединяюсь со словами — хотя бы и с ненаписанными — тем более осознаю, что жизнь — это всего лишь комментарий к давно уже написанным литературным произведениям (нужна невероятная эрудиция, чтобы обнаружить, кто именно из великих мастеров пера в прошлом сумел предвидеть свою жизнь), так же и мои воспоминания, колеблющиеся от великой любви к безднам отчаяния, вполне легко стыкуются с сочинениями романиков, так что вовсе нет необходимости подслащать их пасторальной любовью в райском садике или приправлять их горечью слез в момент изгнания из сада — все это следует уже из условий задачи. Жизнь человека это такая шкатулка с драгоценностями, переполненная словами, и задача состоит в том, чтобы открыть ее — надо ломать самым варварским способом, потому что обращаться с нею по-хозяйски означает по-хозяйски же обращаться и с ее содержимым: быть бережливым, поддерживать порядок, поглаживать бархоточкой для вытирания пыли, тогда как на самом деле чистку производить следует металлической щеткой. Однажды такой щеткой свою шкатулку я разворошил — той ночью, когда жертвовал слова свои в честь огненных богов; хозяин взламывает шкатулку, только если ключ потерялся — на этот раз ключик проглотила жена, но запоры упали сами собой, и в один прекрасный день слова посыпались, как из прорвавшегося мешка — я едва успевал их записывать, сначала даже не доверяя происходящему — пальцы, отвыкшие от клавиш машинки, выстукивали вначале что-то совершенно не то, но все равно — шкатулка с драгоценностями была открыта, и все остальное казалось не важным. Описал жену вместе с проглоченным ключиком: ее тление и регулярные воскрешения, безумную романтическую, невероятную любовь описал, и с другой стороны — столь же непостижимую и невероятную ненависть описал; как только все это перешло во владение белым листом, безразличными стали и возвышенная любовь с ее взаимным самопожертвованием, и сама жена. С легким сердцем разделался с бесстыдными формальностями развода: жена тоже чувствовала себя счастливой, так запросто освободившись от меня, да напоследок еще и смачно сплонула — не дай бог такому повториться. Написанное как бы вычеркнуло, сделало несуществовавшим отрезок моей жизни — к нему не вернусь более, знаю это, и если теперь возвращаюсь к тому же материалу, то потому лишь, что сочиняю вариант иной, «могло быть и так» — проवेशенная словами граница между явью и литературой слишком ненадежна, чтобы на нее полагаться, всегда надо иметь про запас «могло быть и так» — иначе сказанное запросто окажется чем-то уже иным. Воспоминания — единственный способ, с помощью которого человек может влиять на прошлое и менять его. Словно это всё, что не сказано словами, того вовсе не было. Любой человек в своих воспоминаниях занимается тем, что комментирует литературу с помощью действительности; дневник или небольшие мемуары — это первый шаг от жизни к литературе: чуть-

чуть приврать ради складности — вот уже и литература. Пусть моя жена катится ко всем чертям, ее роль в этом повествовании сыграна — пусть отправляется в ад, ко всем чертям. Что мне до любви, если я уже описал ее так, что лучше не сумею?

Расчеты с женой оказались делом простым, больше усилий потребовала глобальная метафоричность, въевшаяся в мое сознание настолько прочно, что не вытравлена до сих пор, если ее можно вытравить вообще, а то, может быть, она может только переходить на какой-то более высокий уровень. Ненаписанные, невысказанные метафоры скапливаются (аккумулируются? конденсируются? как, впрочем, сами слова могут судить о процессах в сознании, и не есть ли это суждение само по себе метафора?) во мне, с ними происходят таинственные превращения — они пропадают, тают, развеиваются. Уравновешиваются? Может быть, вновь всплывают на поверхность, собираясь в еще невиданные комбинации? В любом случае, мания метафоризации, когда литература говорит то же, что и мир, а мир — то же, что литература, ушёл прочь — туда, к сожженным рукописям: безопасности ради я по-прежнему скрываюсь от дискретных метафор мира, опасаясь впасть в искушение — потому дверь и заколотил, чтобы стало невозможно кружить вокруг трубы, вокруг дома (замкнутость круга ведь один из наиболее опасных камней преткновения); потому и одеваюсь по возможности неприметно, чтобы не возникло связей между фасоном пальто или цветом рубашки и моей личностью (хотя именно в невыразительном внешнем виде можно усмотреть связь между моим внешним обличьем и сущностью моей личности); поэтому избегаю рассматривать в журналах репродукции, чтобы не вызвать лавину невест где услышанных фраз; потому даже по лесу боюсь пройти, чтобы ели внезапно не стали бы «мрачными», а птички не зачирикали бы «радуясь жизни». Рожденное человеком слово возвращается, как бумеранг, и застаивает человека жить по его законам — любить, как в мелодраме; ссориться, как в дрянной юмореске; рукописи непременно сжигать, а не отправлять в мусорник; к несуществующему телефону на отсутствующей тумбочке — прекрасный образец бессловесности! — пристраивать мечты о том, что произойдет, если трубку снять; воспринимать женитьбу не как женитьбу, но в качестве отказа от творчества — и так далее, до бесконечности по лабиринтам слов, одержимому лабиринтоматией. Потому я и отказался от мира за окном, обратившись к миру внутри себя, постепенно его опустошая. Зачем мне мир, если я сам мир? Зачем мне люди, если сам я человек?

Раньше я любил возвращаться в общество, но теперешний образ жизни настолько контрастирует с прежним, что я заработал славу мрачного отшельника, славу, почти дотягивающую до легенды об аскете, который сидит в келье и пишет без усталости — легенда появится, не теперь, так позже; в любом случае появится — сам ее создам: инерция и искушение слов необоримы. Репутация заслужена вполне, мне и в самом деле не интересно ничего, кроме себя самого, эгоцентризм в крайней степени, и я раз за разом сдираю с себя шкуру, чтобы выложить на белый лист все, что скопилось во мне. Мне безразличны соседские обстоятельства, телевизоры и автомашины, политика внутренняя и политика внешняя, музыка и литература. Мне удалось даже избавиться от ненасытнейшей прожорливости — уже лет восемь, как меня беспокоило увеличение веса, килограмм тащил за собой килограмм, каждый новый год я отмечал новой складкой на животе или подбородке, даже нервное сидение возле постели жены способствовало аппетиту, а разгрузочные дни, которые я, стыдясь, тайно осуществлял, неминуемо завершались полуночными бдениями у холодильника. Стоило мне только написать гротескную, слегка отпугивающую миниатюру об оборотстве, как всякий интерес к еде пропал, ем я теперь ровно столько, чтобы поддерживать огонек жизни. На самом деле, мне все еще не ясно, что именно и каким образом я в себе выжигаю — навсегда, чувствую только, что становлюсь все более исчерпанным и пустым; слова я извлекаю наружу словно клещами, отрывая заодно и часть своего существа — на этом месте остаются

кровоточащие рубцы (возможно, правильное было бы сказать, что не опустошаюсь, но наполняюсь — наполняюсь зреющей, угрожающей пустотой; пустотой, которую следует искать по ту сторону слов: как рассказать словами не объяснимые, ранее не испытанные нюансы поведения памяти, ранее которым названия не было никакого, и о существовании которых я не имел ни малейшего представления до того момента, когда они рассеялись?). Как только я чему угодно — предмету, событию, узору мысли, мгновенному всплеску эмоций — подыскиваю единственно точное слово, как они мне уже не нужны, умерли, пропали, и я теряю микроскопическую частицу себя (если я суть человеческое существо в единственном экземпляре, то почему бы в природе не существовать законам, рассчитанным на меня исключительно?). Однажды написал про любовь — так хорошо, что теперь у меня не возникает более необходимости любить — все равно, написанного уже не превзойду; как только описал любопытство, предъявив человека, все существование которого определяется новыми и новыми порциями фактов и сплетен, который не может без них, как наркоман не может без новой порции яда — как у меня пропала потребность крутиться между людьми, принимать к телевизору и днями напролет шуршать газетами. Профессия определила мою судьбу (родился, чтобы писать, и пишу, потому что родился); чем пишу серьезнее и глубже, тем разряженной становится одиночество — общения с людьми опираются ведь на долгие говорения, а о чем разговаривать, если слово, сказанное вслух, не в состоянии превзойти однажды написанное — вначале быстро иссяк верхний слой: темы разговоров, взаимные комаринные укусы, обсуждение увиденного и услышанного. На одиночество я не сетую, этот крест на плечи мне никто не возлагал, сам выбрал (остается вопрос: что будет, если я опишу одиночество — слишком много безответных вопросов возникает во мне с увеличением пустоты); столь же одиноким может быть человек, у которого, скажем, ампутировали ноги: сколько бы внимания и сочувствия он ни вытягивал из окружающих, все равно он остается заключенным в прозрачный домик одиночества. Я обитаю в подобном же домике, только ампутированы у меня части моего духовного мира; эти части затронула писательская гангрена, которую не останавливают все новые и новые

ампутации, и никто мне уже не поможет, да я и не прошу. Трудно вообразить, как бы мою одержимость объяснили медики — прогрессирующей психопатией или чем-то подобным? отмиранием клеток? распадом нервных связей? Может быть, в самом деле открылась какая-то область мозга, которая соответствующее свойство контролирует, а слово здесь служит в качестве реле? Все это мне, в действительности, безразлично, куда более серьезной представляется мне старая-престарая проблема: где искать ту грань, по которой проходит граница слов, и — как найти сочетание звуков для того, что еще не названо словом — бессловесное слово. Жизнь пульсирует во мне, но безразлично мне и это — я живу, как растение, за исключением моментов, когда предаюсь писательству — право же, не вспоминая о всяких туманных и однообразных происшествиях в промежутках. Кто-нибудь, возможно, присоветует покинуть сей мир, а только меня не волнует и это, поскольку самоубийство я уже тоже пережил в одном из рассказов. Есть ли смысл повторяться? Может быть, я поддерживаю равновесие — что уходит из меня, то пополняет мир в облике моих духовных детей, так что в сумме не меняется ничего.

Два крайне сложных и непостижимых вопроса будоражат мое сознание. Когда наступит та точка жизни, в которой я окажусь отдавшим белому листу все, на что был способен, и что будет потом — духовная смерть — когда мое тело останется не жить, но функционировать? Что произойдет, если я сочиню рассказ о том, как пишу — может быть придет единственно возможное спасение, единственный выход из безумия? Ответ на первый вопрос предоставит время, искать ответ на второй я не осмеливаюсь, хотя вот уже долгое время меня волнует идея такого рассказа — особенно ранним утром, когда не подготовлен еще к установлению отношений с действительностью и, не вполне еще меняемый, шлепаешь по ледяному полу на кухню, варить кофе...

1987

Перевел АНДРЕЙ ЛЕВКИН



# П Е Т Е Р С Б Р У В Е Р И С

## ОСЕНЬ КАРАИМОВ

памяти поэта С. Фирковича

в чёрный мрамор черствеет  
ночь; вдали колыбельная;  
падают  
слезами Бога омытые  
листья;

каждый стих  
эпитафией  
вместе с дождём  
в стекла стучится,  
каждый стих оправлен  
в чёрную раму;  
и в хрупком ветвлении видений  
как в ветках плакучей ивы  
теряется ветер;

краткий взгляд, уходя,  
бросить назад,  
короткая полоска света  
по мраморным чёрным ступеням;

и дождь  
беспросветный,  
скорбящий,  
неисповедимый.

## ОТКРЫТИЕ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ КРЫМСКИХ ТАТАР В РИЖСКОМ СТРОИТЕЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ

в лица униженные вкрадывается улыбка  
к-ногам-не-имеющим-права-вернуться-домой  
голубиное пёрышко липнет  
и ноги словно хмельные  
рядом с толкучкой Рижского рынка вытанцовывают  
Крымский контур

и миллионы солнцем пронизанных капель  
(брызги веселья  
со свадьбы велей \*)  
касаются губ истрескавшихся-в-немоте  
над пеплом сожженных книг  
над кровоточащими-по-дому-сердцами

дождевых миллионы капель  
в каждой из них  
отражается  
бредущая от рыночной толчеи  
девушка  
немая

с открытками Бахчисарая в руке  
и вырванным родным языком

1 октября 1989 г.

\* \* \*

промозглое мутное утро  
в серебристой роще  
тлеет прогоревший костёр  
вокруг разбросаны кости  
там в низине непроходимое болото  
над ним простерев покрытые инеем крылья  
предчувствие близкой зимы сужает круги

звякнула жестяная кружка  
о край бидона  
вычерпывая остатки самогона

как клочья серого войлока  
вываленные в грязи и крови  
лежат лесные братья  
(то и дело кому-нибудь судорогой сводит указательный  
палец)

какой сейчас год?  
какая здесь нынче власть?  
слепое оцепенение  
клеймит обречённо  
покрытые щетиной лица  
наваливается последний сон  
паскудней паскудного:

змея распластавшись на ветке дуба  
птичьи яйца заглатывает  
на каждом мелкими буквами — made in latvia

\* \* \*

Воскресенье. Балтийский военный округ. Чайка ныряет.  
Дождь. Фосфора белого россыпь выносит на берег волна.  
В прибрежном лесу пограничников эн-ный наряд шныряет,  
и здесь среди дюн охраняя надёжно захваченные племена.

А там городок военный, вон — за бетонной стеной.  
Сам генерал. В сорочке. Хлеб с ветчиной ест,  
что-то жене говорит, склонившейся над бурдой,  
смотрит хоккей, в окно, ждёт из Москвы весть.

Над аэродромом военным аист кружит и кружит.  
Весь подозрительно белый. Вот тебе, пацифист.  
В шутку охранник прицелится. Годик ещё служить.  
Шведский альт равнодушный сквозь транзистора свист.

В горло вцепились острые когти звездчатых лап.  
Ливка детей по-латышски баюкает — спать, спать,  
и запрещает на взморье янтарь собирать.  
... Воскресенье. Советская Латвия. Дождь. Этап.

1989

\* — по латышским поверьям — когда во время дождя светит солнце — души умерших (вели) справляют свадьбы.

**ПИСЬМО ДЕВУШКИ ОДНОКЛАССНИКУ  
В АФГАНИСТАН, II**

\* \* \*  
детство заснеженное  
вокруг яблоньки заячьи следы  
ослепительно-синие сумерки утра  
маленький лимон фонаря  
сквозь заиндевелые ветки  
за проводами в изоляции изморози  
над вырезанным из синеватой промокашки плетнем

отгороженное от внешнего мира утро  
тихо и неподвижно  
словно в коробке декоративного картона  
из-под лыжных ботинок (made in Ullumullumia)

все вóроны ещё спят  
все почтальоны ещё пьют свой утренний кофе  
ни одна весть о смерти ещё не пришла  
ни одна ужасная история ещё не сбылась

детство заснеженное  
мышка шуршит луковой шелухой  
сматывая сны в клубок  
хрустнуло стекло,  
у ледяного цветка лепесток отломился  
с ледовой пальмы упал кристалльный орех  
скрипнула дверь оборачиваюсь

на обледенелом пороге  
мигом зайчонок сгрызает морковку моей судьбы дочиста  
за ним котёнок вслушивается в огромное одиночество

\* \* \*

капля сползает вниз по стеклу  
в яблонях голых лиловой мглы колыханье  
кажется сердце кто-то хватает  
пальцами позанемевшими точно  
и на щербатой тёрке  
трёт — трёт — трёт  
с ночи до утра  
с утра до ночи

и когда последняя капля  
сползёт вниз  
и исчезнет в рыхлой полузамёрзшей тверди  
сквозь ваши салоны  
мимо ваших напудренных носов  
вдоль уставленных яствами столов  
станет моя несчастная кровь смёрднить

**ПИСЬМО ДЕВУШКИ ОДНОКЛАССНИКУ  
В АФГАНИСТАН, I**

Каким ты вернешься с войны —  
Слова будут хлестать изо рта, как из раны,  
Или сделаешься неразговорчивым?  
Заплачешь, когда увидишь Ригу,  
Или останешься равнодушным?  
Споёшь ли какую-то новую песню,  
Или разобьёшь расстроенную гитару  
о голубой экран?

Когда ты меня обнимешь —  
Я расцвету или облипну кровью?  
Отличишь ли меня от смерти,  
Или мы будем с ней на одно лицо?  
Стать бы мне твоей смертью —  
Ты бы до старости меня не встретил.

Сахиб из Хадды сражался в Малаканде.  
Погибли жёлтые розы.  
Мой милый за родину голову сложил.  
Погибли жёлтые розы.  
Из кудрей своих ему саван сошью.  
Погибли жёлтые розы.  
О, горе!  
Сахиб из Хадды сражался в Малаканде.  
Погибли жёлтые розы.

(в этой песне никому не известная пуштунка тоскует  
о своём возлюбленном, погибшем в сражении с англий-  
скими колонизаторами под Малакандом в 1897 г.)

цинковый дождь в проёмах окон, цинковый дождь  
в полумраке бабушкин необъятный комод  
украшенный резными сентиментальными ангелочками  
взорвался челюстью ящика  
пыль поднялась как за гусеницами  
сгустки крови застыли на мамином конфирмационном  
платье

угольно-чёрные птицы  
густых бровей  
отделились от лиц мёртвых солдат  
в развороченной груди тряпья  
развороченные останки человеческого тел  
руки головы гениталии обгорелое мясо  
знакомая родинка  
на небесно-синей исколотой иглой вене  
впивается  
как зрачок  
пронзая  
мою  
отчаяньем обожжённую ночную рубашку

цинковый дождь, брызги оцинкованных капель  
на жёлтых восковых розах  
на подоконнике  
на этом толстом довоенном  
дубовом подоконнике  
который вдруг шевельнётся и выскрипит:  
**РАСПИЛИТЕ МЕНЯ НА ГРОВОВЫЕ ДОСКИ**

цинковый дождь в оконных проёмах  
цинкующий свет ползёт по  
моей груди  
и глаза мои вьют чьи-то другие глаза  
чёрные как Чёрный Каабский Камень  
и губы мои растворяются в чьих-то других  
губах  
и вперемешку с сурами Корана  
не затихая спрашивают и спрашивают о тебе ...

жёлтые розы жёлтые розы  
стынут в тени стингеров стылых  
в плащ запахнувшись из цинковой кожи  
Бог вскользнёт в синеву моих жил

1989

Перевел  
ДМИТРИЙ КУДРЯ

# ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ

## ЧИТАЯ ФОЛКНЕРА

Мне не хочется ставить последнюю точку. Мне кажется, я кончаю не маленькую повесть, а свою первую, самую счастливую и короткую жизнь.

Я в комнате, где музыка и дым. Напряженная спина отца, пятна пота, пахнущие «Шипром». Жуть газетных передовиц; какие тяжелые слова ворочает отец: МТС, директива... Стеснялся слова «журналист», говорил о себе: газетчик. Конец пятидесятых, я притаился в комнате, отец, пышущая жаром радиоло, зеленый глазок, а из черного гарлемского вымени бьет струя джаза. Подставляю руки, лицо, сердце. Этим молоком я вскормлен. С этого начался Фолкнер?

Нет.

: полдень, шлемы куполов, стремительные ступеньки, мы в майках, нам — шесть, прохладная духота церкви. Сбоку и сверху: голос отдельно, оспенное лицо отдельно: — А ты, жиденек, ступай отсюда.

Это не мне. Это Моне. Бег наперегонки с дыханием. Монин полуподвал, нелепо разведенные руки Рувима Львовича. Так начался Фолкнер?

Нет.

: девочка, на берегу тебя. Как высоко небо. Как глубокий поцелуй. Мы не на «ты» — на «я». Не вхожу — заплываю далеко в тебя: мимо — буйков, горизонта — мимо; оглянувшись, не видел крошки суши, радовался. Ты помнишь, десять июлей тому ты входила, столько же летняя, в дух захватывающее Черное, и была в нем теплым течением. Но при чем здесь Фолкнер? При чем. При чем!

С ума сойти, стрелки часов Бенджамина Компсона вращаются в обе стороны. Он фиксирует происходящее, как художник, не искусенный знанием законов перспективы. Для Бенджи событие не имеет ни общепринятой логики, ни конца, ни начала, но лишь контур, цвет, запах, степень приятности или боли. Он часто плачет, но слезы эти не горьки, не печальны — они текут, потому что текут; слезы — его средство общения. Слова говорящих он различает не по смыслу, а по интонации, тембру. Бенджи словно движется на карусели. Виток. На гамаке в саду Кэдди и Чарли. Еще виток, длиною в полжизни. Кружится голова. Судорожно цепляется Бенджи за гриву деревянной лошадки. Катятся слезы. Тридцать три года. По кругу. По кругу. Те же лица, запахи, крики. В десяти строчках первого абзаца «fence» (забор) повторяется 5 раз, «went» (прошедшее время глагола «идти») — 5 раз, «hit» (ударить) — 4 раза, «flower» (цветок) — 3 раза, «flag» — 3 раза.

Пластинку Бенджи заело на «Люблю Кэдди». (Калитка, школьницы, идущие в сумерках, запах деревьев, — это все Кэдди.) Ночь кончается для него счастьем: присутствием Кэдди (они спят рядом) и ее словами о пробуждении. Но надушенная Кэдди для него уже другой человек: он убегает от нее. Для Бенджи признак чаще важнее и значительнее, нежели носитель признака. Однажды, заметив яркие пятна («bright shapes»), он позже думает о них только как о «яркие» (опуская существительное). В выборе признака проявляется поэт. Секрет субстантивации знал Манделштам, гений имен прилагательных.

*Слепая ласточка в чертог теней вернется  
На крыльях срезанных с прозрачными играть.*

Или:

*Но я забыл, что я хочу сказать,  
И мысль бесплотная в чертог теней вернется.*

Итак, мы сравнили Бенджи и Манделштама. Уточним: за спиной Бенджи всегда сокрыт автор. Если бы сам Бенджамин Компсон взялся за перо, на бумаге скорее всего остались бы ломаные линии и пятна слюны. Лексическим топтанием, эллипсисами, обрывками, выбором признаков Фолкнер создает иллюзию того, что Бенджи сам рассказывает о себе. Фолкнер пишет «изнутри». О затемненности, фрагментарности, прерывистости мышления героя мы судим не потому, что автор этими словами характеризует Бенджи. С первого предложения романа Бенджи смотрит сквозь что-то: забор, выходящие цветы. Это намек, толчок — вывод за нами. Вот строчки хорошего поэта.

*Какие горькие слова!*

*С песком, полусырые.*

Названо очень точно (это о шуме листвы). Фолкнер — поэт высшего порядка. Он выбирает такие слова, представляет их таким образом, использует такие знаки препинания, что песок или влагу мы не просто считываем со страницы, но ощущаем на зубах и кожей. Вот предложение: «What do you think of that scouring her head into the» («Тычу ее лицом в...»). Дальше земля помешала. На точке после «в» кончается литература и начинается жизнь.

Цивилизация выражает себя на всех уровнях. На грамматическом тоже. Индейцы говорили о себе в третьем лице. В мифологической песне «Прорицание вельвы» из древнеисландского эпоса «Старшая, или стихотворная, Эдда» (около X в. н. э.) вельва, т. е. колдунья, говорит о себе как в первом («... все я провижу...»), «Яшень я знаю по имени Игдрасиль...»), так и в третьем лице («Она колдовала тайно однажды...», «Один ей дал ожерелья и кольца»). Это свидетельствует о двойственном — отчасти еще языческом, частью уже монотеистическом — мироощущении. Бенджи — идиот; он растворен, смазан, расквашен и все же, повторяя окружающих, думает только от «я». Это — формальная индивидуализация. Сам по себе Бенджи, в отличие от Квентины или Джейсона, — ноль, ничто. Он интересен, как монтажные ножницы, как оптический прицел Фолкнера. Глава первая — торжество отстранения.

События, происходящие в первой главе, смонтированы не хронологически, но — не без помощи Бенджи — ассоциативно. Все последующие главы — разгадка, ключ к пунктирному восприятию Бенджи. В школьных учебниках грамматики детям часто предлагают такое упражнение: вставьте в предложение вместо точек подходящие слова. Учебники преследуют дидактические и воспитательные цели. Фолкнеру плевать на развитие нашего воображения или логики. Он — художник. Он следует своей эстетической правде. Глава, написанная от «я» Бенджи, — это проза замедленного действия: сперва она ставит в тупик и очаровывает вопреки непониманию, а после прочтения всей книги ошеломляет и покоряет точностью, дерзостью и мастерством. Вкус счастья лишь тогда сладок, когда для достижения счастья преодолевают сопротивление и преграды. Это относится и к счастью чтения.

Ритм напряжения первой главы задан и вымерен; узкоколейное восприятие Бенджи сочетается и недосказанностью событийной: то Ластер утаивает чужой мячик, то от детей скрывают смерть бабушки.

Почти десять лет тому назад восторженный восторокурсник, мой тезка и однофамилец, написал:

«Итак, начинаются Черновцы! Встаньте — как вы всегда встаете, когда говорят о любви. Этот город выстроен из недомолвок, дыма и крика. В его дворах, где пасутся дожди, громоздятся искореженные клетки для птиц и полустлепешие кошки трутся о пепельных голубей. В его стенах — непробитые окна, обрамленные карнизами. Каменные намеки. Казалось, уже все было готово, чтоб извлечь кубометр кирпича, но вдруг началась чума или нахлынула вражеская армия, и ступеньки нелепо уткнулись в то место, где должна была появиться дверь, — так алхимик на смертном одре мог бы раскрыть лишь половину тайны. Черновцы размыты переулками. На какой-то окраине, в каких-то отголосках города, где запах и цвет — одно и то же, прорезаются тополя...»

Отречение от своего прошлого — это отречение и от будущего. Я не намерен отказываться от своего юношеского голословия. Я лучше попробую еще раз, снова о Черновцах. Вдруг получится?

Сначала: поля: кукурузные, картофельные, гороховые, — без края, без границ; какой-то пространственный разгул, разврат — и это тоже город — и ты, в ужасе глядящий на ртутных, рассыпающихся вдаль мальчишек. И вот ты уже один на один с дюреровским муравьем, лезвием кукурузного листа, дрожью поджилок. Разве это сравнимо с неуютом коридорной полутьмы, когда ты просишь «Мамочка, постой за дверью уборной — а то мне будет страшно выйти!» Крепко сжаты и забыты два стручка гороха в ладони, сладкие молочные слезы в лопатках. Все это повторится еще тысячу раз — на каменных мостовых — только мелькнет меж домов оранжевая майка старшего брата; это он убегает от тебя со своими ровесниками, они сильнее и выносливее, они бросят тебя одного, с болью в селезенке, с мокрыми солеными ресницами, и потом на тех же мостовых тебе крикнет женщина: «Все! Все!» и за нею с грохотом захлопнутся дверные створки трамвая, а твоя боль медленно, как в лифте, подымется из селезенки в грудь и остановится — уже навсегда — возле левого соска, а ты, по-прежнему забыв обо всем на свете, будешь сжимать в своей побелевшей ладони два нелепых гороховых стручка — сладкие молочные слезы в лопатках.

Мое зеленое, виноградное, тминное детство под сенью дедушек (позднее разобрался: дедушка — один, все остальные — его братья); не помню в раннем детстве зим, оглядываясь и вижу: вечный июль, воздух, струящийся из набухших яблок, щекочущий до головокружения. Первый трехколесный велосипед. Я буду ездить на нем, пока колени не уткнутся в подбородок. Потом — сразу — едва сандалики дотягиваются — «Орленок». Учительница брата всплескивает руками: «Светлана Ивановна! Я видела вашего младшего: он катался на чужой улице!» А мне уже тесно в саду, и своя улица мне мала, и как замечательно, что этот город скроен на вырост. Я набираю скорость, и мой брат уже не придерживает меня за багажник. Как долго тянется асфальт и аптекарский запах из-за забора госпитального двора. Через два года я узнаю про существование сочетания «болезнь Боткина» и почувствую пухлость и объем слова «печень». Остывшим декабрьским рассветом я прошлепаю в спадающих — на два номера больше — казенных тапочках, в вылинявшей пижамке пустынным гулким коридором, войду в высокую, почему-то всегда со свежескрашенными стенами уборную, найду свою баночку с биркой «Гена Люстрин. Анализ мочи» и беззвучно — з-з-з-з — наполню ее. Никогда в жизни я больше не видел такого горького, такого соленого, акрихинного черножелтого электрического света, как в больших уборных сиротливым декабрьским рассветом! Лежа в изоляторе, в полубреду слизывал этот свет с губ; долго смотрел на босые ступни санитарки Гали, стало неловко, не нашел ничего лучше, — и сейчас, когда пишу это, краска заливает щеки, —

чем спросить: «Галя, у тебя плоскостопие?». У кого только слову такому научился?! Но это после, через два года; а пока — на прозрачных спицах я открываю квартал за кварталом, и с моих шин слетают навозные иголки пригорода прямо на убористые булжники по-ярмарочному нарядного центра. Горбуны; безумцы; распасанные, как пасхальные крашенки, крестьяне; евреи — что ни мужчина, то Кафка, что ни старуха, то вечность — все это по боку, только за локтями просвистело. На велосипеде с отказавшим тормозом я наматываю на колеса уже не километры, а годы. Как странно: вокруг меня все говорят по-немецки, порумынски, а я все понимаю. Я знаю этого мальчику и девочку, которой он кричит «Аме!». Его зовут Пауль Анчел. Став взрослым, он переименовал свою фамилию в Целан, и в литературных энциклопедиях вслед за датами его рождения и гибели пишут «выдающийся австрийский поэт». А пока мы втроем на берегу речки Прут. Среди жалеющей гальки мы находим песчаный оазис. Песок, как крем, проходит сквозь пальцы. Вода студена. Становишься на цыпочки, тянешься вверх — лишь бы ледяной поясок не замкнулся на талии. Обрушиваешься. «Мальчики! Не заплывайте далеко!» — голос Аме.

Конец мая, семьдесят какой год? Мы сидим на кухне — только там и остались табуретки. Все упаковано, чемоданы затянуты, замкнуты саквояжи на маленькие игрушечные ключики. Мне кажется, что я на перроне и слышу рыданье и сам давлюсь слезами под тихую еврейскую мелодию. Край тьмы. Край света. Но куда эмигрировать от себя? Как Пауль — головой в Сену? Женщина с юным лицом и звонкой сединой говорит:

— Он был красивый мальчик. Он был красив утром, вечером, в гимназии, в библиотеке...

Мы тянем остывший кофе. Амалия спрашивает:

— Вы хотите переводить стихи Пауля?

— Нет, — говорю я и чувствую: надо что-то добавить, что-то объяснить. Но мне ведь и самому не все ясно, я ведь и себе не могу внятно ответить, зачем пришел к этой женщине, зачем цежу холодную кофейную кашку и не хочу, не хочу уходить. Я возвращаюсь в довоенные Черновцы. Забегаю на рынок, улыбаюсь гуцулкам в накрахмаленных чистеньких передничках, пробую ослепительно белый творог — он тает на языке быстрее снега. Я не пропускаю ни одного подвальчика с намалеванной на дверях гроздью винограда, пью из деревянных кружек. Как кружится небо над головой. Как пьян этот воздух.

— Ты хотел бы показать мне Черновцы? Крупнозернистая стена дома. Бесконечный, как зевок, туман. Родители позволяют ей возвращаться не позже одиннадцати. Мы медленно отрываемся от земли. Вот летят над Украиной не ведьма и ведьмак, а юная женщина и молодой мужчина. Его знобит, и он поднимает воротник. Низко над ними Млечный Путь, и когда они пролетают над огнями городов, мужчина поеживается на звездном сквозняке. Так летим мы, рука в руке, пока утро не открывает перед нами мой Дублин, мой Витебск, мой городок. Последние вельветовые доскутки свежеспаханных полей и крыши, крыши. Любимая, осторожно, легкое облачко — чей-то сладкий сон. Ноги, прикоснувшись к плитам, зудят с непривычки. Троуар. Подъезд. Потом еще глубже, по осклизлым ступенькам, сквозь острый помойный аромат; в этой подвальной полумгле с темными сырными разводами памяти на потолках — слышишь ли ты ребячий голосок:

Раз, два, три, четыре, пять, —

Я иду искать.

Кто не заховався —

Я не виноват?

Стремглав, нарочно с нею, спрячемся, нет, не сюда, здесь сразу найдут, да, да, в этот влажный, дрожащий мрак; тоньше ниточки — шелка. Она глядит сквозь нее, видит восклицание «Тук-тук за себя!», и я тоже, из-за спины заглядываю в шелку, не чтоб увидеть — чтоб прикоснуться к лезвию плеча, яблочному локотку; ночь в глазах.

Я не заховаюсь. Я не виноват. Вот кто-то отделяется от тьмы, вылитый я, со щетиной и трауром под ногтями. Он отстраняет тебя и кулаком убивает меня насмерть ударом в висок.

Как начать этот отрезок моей прозы, моей поэзии, моей жизни? Резко и сумбурно? А потом где-то к середине обрести почти сухую, протокольную ясность, слишком уж сухую и протокольную, чтоб заподозрить меня в пристрастии к добротной прозе. Или наоборот: сперва упомянуть даты, имена, места встреч и разрывов, а потом с каждым словом все стремительней и круче набирать высоту, пока не лопнут барабанные перепонки и носом не хлынет кровь? А что, если так: Воскресенье, конец марта: утром из зеркала на меня посмотрел небритый старый-старый молодой писатель. Он открыл окно, и на улице стало теплее. Он спустился по лестнице, впервые в этом году с непокрытой головой, пальто нараспашку, с болью в груди — от невозможности высказать все, до конца. Внимательно прислушиваясь к своей боли, он вспомнил строфу из любимого поэта, одна из книг которого, должно быть, в пику святому Франциску, называлась «Сестра моя — жизнь».

*Как будто бы железом,  
Обмокнутым в сурьму,  
Тебя вели нарезом  
По сердцу моему.*

Боль обрела вкус: словно во рту защипало недоспевшее яблоко. Во дворе влажная набрякшая земля как-то вся сразу подавалась под каблуками. Откуда-то вынырнули символы весны: спортсмены в разноцветных майках. Символы гоняли мяч; механический футбол; фигурки, у которых есть только вид сбоку и никакого будущего; клавишные бега; гашеточный разнобой; иногда мяч вылетал за металлическую сетку спортивной площадки, и дети, стоявшие за сеткой, все вместе устремлялись к нему и, повозившись, в конце концов перебрасывали мяч на площадку, вновь включая тела и голоса спортсменов. Вернувшись, третье лицо единственного числа вымыл два бокала — он ждал гостью, — вспомнил ее губы, пахнущие укропом, а потом всю эту зиму, снег этой зимы и воздух, тоже пахнущие укропом, отлегло. Про мартовское воскресенье, влажную податливую землю, красивых спортсменов в разноцветных майках и аромат июньских огородов. Но то главное, ради чего он писал, ускользало из-под пера: то ли он боялся подступить вплотную к этому главному, то ли оставлял, как самое лакомое, на потом.

Динь-дон. Пока не поздно, отложим книгу, бросим главу вторую, забудем про роковой июньский день 1910 года. Вернемся в Бенджин мир: там еще живой-здоровый Квентин, там счастливо плещутся в ручье Кэдди и даже Джейсон — не такой уж злодей — изорванные им бумажные игрушки не в счет. Но куда там! Разве уйдешь от Фолкнера. Вы можете вот так, одним предложением описать повторяющуюся изо дня в день спешку опаздывающих: «the same fighting the same heaving coat sleeves...» (все та же ловля рукавов пиджачных на лету)? Здесь что ни строчка, то горизонт.

Ты к ней — она от тебя. Квентин разбивает вдребезги часы. А они знай себе тикают. К тому же он порезал палец и выпачкал циферблат в крови. Есть ли смысл вернуть наизнанку эту метафору? Думаю, нет. Интересна структура фолкнеровских метафор. Сначала он вбрасывает почти лобовую мысль. Ты едва не морщишься. Но вот он начинает ее раскручивать и разворачивать. Ты становишься на цыпочки, а он все тянет тебя за собой — не дотануться.

Когда умрешь, благородный ты или нет, запашок тут как тут. Вот едет гремящим трамваем молодой, с иголочки одетый труп с остановившимися часами и взглядом. От него разит воспоминаниями; от воспоминаний — духотой жимолости, объятий и камфоры; как за дымовой завесой, все преломляется, слоится, растекается — до запятых ли?

Квентин — максималист. Он все воспринимает в самом прямом смысле. Если цвета — то без примесей: вечные,

библейские. Если добро — то как в притче — из одного куска. Рушится, рушится его мир: вот-вот Квентин будет погребен под руинами. Я не о заблуждении Квентина. Я о нашем заблуждении. Не мы — Квентин прав! С тех пор, как безумно (это для нас — безумно, а он иной любовью и любить не может) любима им сестренка Кэдди познакомилась с неким Долтоном Эймсом и потеряла невинность, время Квентина отсчитывает его височная жилка. Долтон Эймс. Динь-дон. Долтон Эймс. Динь-дон. И всюду адская машинка — на запястье, в витрине часовой мастерской, на башне. Каждое мгновение не прожито — соперезито. Обострены слух, обоняние, зрение, совесть.

Кое-кому повезло: у них кожа, как кора дерева. Наверное, из-за таких счастливиц некоторым вовсе кожи не досталось. Так и живут — как освежеванные. Хорошо еще, что ледниковый период кончился. Кончился?

Знаменитая слеза ребенка для Квентина не цитата, но капля соленой влаги, срывающаяся с детской щеки в бездну. Квентин устремляется за ней.

Но, сэр, но Квентин, какими судьбами ты забрел в роман, написанный в 29-м году? Беги из него. Я передам тебе — стража подкуплена — веревочную лесенку и напильник. Что же ты мешкаешь? Через крепкую, коротко остриженную голову лейтенанта Генри ты протягиваешь руку несчастному немецкому пареньку, чующему запахи по телефону; забывшему Симору Глассу; подростку, показывающему юной возлюбленной где-то в школьном закутке, на самой вершине, свою страшную тайну: кожу, крапленную псориазом. Генри, конечно, не в счет. О нем и речи быть не может. Скорей уж другой лейтенант — Глан. Или Арсеньев. Их тоже обделили кожей. Но им присуща скорее биологическая, сословная, психологическая тонкость, а не духовная. Задержимся на Симоре. Вот он, прощаясь с жизнью накануне самоубийства, целует пяточку Сибиллы. Не будем пересказывать.

«Молодой человек надел халат, плотнее запахнул отвороты и сунул полотенце в карман. Он поднял мокрый, скользкий, неудобный матрасик и взял его под мышку». А вот Квентин в последний час своей жизни. «Then I remembered I hadn't brushed my teeth, so I had to open the bag again. I found my toothbrush and got some of Shreve's paste and went out and brushed my teeth. I squeezed the brush as dry as I could and put it back in the bag and shut it, and went to the door again».

(«Вспомнил, что зубы не чищены, и пришлось снова лезть в чемодан. Вынул щетку, взял у Шрива из тюбика пасты, пошел в ванную, зубы вычистил. Вытер щетку посуше, вложил обратно в чемодан, закрыл, опять пошел к дверям».) Как совпадает интонация, настрой, аксессуары!

Свобода заключается не столько в том, чтобы преодолеть и отвергнуть этику общую, сколько в том, чтобы подчиниться и следовать этике личностной, генетической. Квентин — свободный человек. Сколь бы ни был убедителен Компсон-старший в споре с сыном, его позиция порочна по сути своей, ибо человек и силен тем, что в каждый промежуток между ударами сердца успеваешь прожить всю свою жизнь.

Есть такой стилистический прием: зевгма. Приблизительно его можно растолковать так: использование грамматически однозначного члена предложения в конструкции с двумя (или более) словами, одно из которых обладает переносным, а другое — буквальным значением. За примером далеко ходить не будем: «... с остановившимися часами и взглядом». Не верьте мне. Это не я владею словом, а оно мною. С ясностью во взоре Квентин развоплощает свою душу. Во искупление.

... и прыгнул он с моста и пошел по воде как по суше ...

... много передать не могу Нина Аркадьевна звонила так я к ней примазалась пей бульон и ешь биточки предварительно поджарь на маленьком огне если рубашка не понравится то продай она стоит 7.50 мне лично по вкусу не маркая хорошо стирается под цвет твоих глаз Геночка не забывай маму звони как живешь что нового главное если холодно то одевай нижнее белье береги себя как

с деньгами что купил получил ли чистое белье из прачечной убираешь ли комнату кухню и коридор множество вопросов посыпалось на твою холостяцкую голову и не надоело так жить я была на толкучке продала пальто отцовское за 35 наконец-то приехала мать Тони непрошенный гость хуже татарина Толечка сразу сбежал даже глядеть на нее не хотел я пришла к обеду и мне позвонил Толя дескать она хочет говорить с тобой а я даже видеть ее не желала ушла из дому до самого вечера пока она не уехала вот гадина хочет мира а я до смерти не хочу ее знать так и сказала Тоне ей конечно не нравится она уже простила а я при воспоминании о помолвке содрогаюсь вместе с Толечкой как видишь он мужчина простить ей не хочет так сильно она нас оскорбила сыночек ты молодец если покупаешь себе творог молоко обязательно надо есть молочное вчера поздравила Мику она поменяла квартиру соединилась с бабушкой приходила с мужем тебя все равно любит я ей подарила хозсумку большую горшок-вазон и традиционный мамин торт сынуля я хочу заказать себе ботинки магазинные не лезут высокий подъем стоят 60 р. ужас но что делать ноги старенькие и больные сыночек что необходимо постирай кашне почисть всю обувь ежедневно смазывай и протирай лицо розовой скатертью новой застели стол сегодня же ты меня порадовал что купил рубашечку в горошек и носки покупай еще мне хочется чтобы ты купил себе костюм импортный все-таки костюм наряднее да и денег имеет почти на костюм а пиджак купить легче он стоит дешевле с брюками а раз ты имеешь денюжку почти на костюм то покупай его а брюки и пиджак купишь потом сейчас когда зима если не очень холодно носи байковые трусы а к лету я еще пошью сыночек если есть еще рубашки в горошек то купи для Толечки я сразу вышло деньги воротник 40 тебе буквально все надо ищи хорошую девочку с квартирой я бы к тебе приехала что будешь делать если хозяин квартиру откажет придумаюся у Тонечки уже животик виден почему стал редко звонить наверное не очень скучаешь неужто я не верю в чудеса ищи Геночка хорошую жену брось ходить в дураках и не надоело как ушанка пойдти на старую квартиру авось отдадут ведь уже холодно все тебе завидуют дорожи работой положи это под стекло что я должен сделать в субботу вытереть пыль и подмести постирать майки и трусы носки рубашки и погладить брюки на мокрую тряпку до блеска начистить обувь и если надо починить отнеси белье в прачечную почистить пальто и пришить если надо пуговицы искать невесту повседневно чтобы жизнь была интересной веселой сытой прочитала твое письмо всплакнула мне очень горестно и больно что ты сукин сын считаешь меня госпожой Простаковой досада берет за твои размышления и убеждения тебя не убедить что ж будем бедняками всю жизнь хоть я стремлюсь как все люди быть «толстой» продукты выложи в кастрюли в целлофане не держи в первую очередь ешь рыбу потом мясо я не в обиде цену себе знаю видимо больше чем ты я ночная «фея» пишу в 6 утра поздравляю с весной солнышком Геночка я думаю что хорошие твои рубахи не следует отдавать в прачечную ибо они скоро полезут и все пуговицы разлетятся не ленись стирать мелочи не ходи с «запашком» сынуся почему не хочешь купить костюм ведь у тебя нет приличного костюма все барахло если не растратил деньги то действуй ищи себе невесту не будь хорьком Толя блаженствует до сих пор а Тоня все полнеет ничего не лезет толстуха ищи брюки послала тебе очень поучительное письмо это крик моей души писала ночью и плакала научись считаться с матерью на такой мизер я имею право у Тонечки токсикоз иногда рвота уже скоро ты сказал что хочешь менять работу разбегать по городам вернее сопровождать с зарплатой 100 рублей но куда это годится не солидная мальчишеская холуйская ветреная работа мне совершенно не нравится а что стоит не поспать ночь другую мне даже стыдно будет сказать где ты работаешь я думала что завтра будет легче чем сегодня а что же получается ведь должно же быть когда-то лучше а ты все летаешь в облаках заставляешь меня разочаровываться и без того серой жизнью своей и твоей а время идет пора устраивать свою и мою

жизнь выкинь дурь из головы будь реальным человеком вспомни отца как он трудился до самой смерти я работаю все праздники чтобы заработать на 5 рублей больше чем ты ничего не ценишь неужели не сделаешь вывода из моего письма запрещаю куда-либо переходить сыночек здравствуй большое тебе спасибо что часто звонишь я так привыкла к звонкам что всегда вечерком тилим тилим тилим итак кончился день моего рождения день был вкусным веселым дождливым жаль тебя не было спасибо за подарок мы тебя с Микой вспоминали ведь в день моего рождения ей делали операцию помнишь ты ночь простоял под будильником неужели не просыпаешь сынуся пишешь ли ты реферат в аспирантуру помнишь ты хотел о Фолкнере надо написать серьезно обстоятельно а не на честном слове в дороге будь осторожен не зевай прячь деньги подальше и пристегни английской булавкой не смейся будь постоянным не летай когда-нибудь получишь квартиру я приеду к тебе я мечтаю у нас телефон сбесился не работал в субботу я хныкала утром прорвало что нового счастливчик твой брат живет с женой и мамой Машки-Пашки на подхвате чистый накормленный купи себе баночку меда нельзя тебе есть все острое вчера послала тебе 10 руб. хочу чтобы ты купил себе баночку меда и маслица пусть будет на завтрак сладенькое хорошо для памяти как с комнатой вот напасть поспрашивай у хозяев торопись ищи скажи своему директору что у всех есть жилье кроме тебя авось поможет или подскажет как угри поживают не надо есть острое и употреблять спиртные напитки все запоминай и говори по телефону раз не пишешь я с ночи хочу бай-бай целую у нас был Саша он собирается в конце марта в командировку и хочет остановиться у тебя обижается что ты не отвечаешь вчера была Мика просто так зашла как дела на работе старайся пойдешь на повышение Толечка сменил нам телевизор блаженствуем стоит 286 р. экран 50 см влезли в ярмо как тебе голубое полотенце и красные наволочки на твою гривку судили Храпченко за убийство собственной жены дали расстрел негодяю где будешь на праздники иди в театр ведь в компанию нужно 10 р. а жаль на один вечер прими рубашечку в карманчике сюрприз не угадаешь Зр. ха-ха-ха я буду красивенькой на май пошью новое шелковое платье и ты будь красивым врач уже нащупывает головку не зря всем животам живот но мы все дрожим если не звонишь так пиши почему меня держишь в черном теле сынуся вытирать стол надо влажной тряпкой чтобы он не был липким Тонечкина кабаниха даже не пишет где же правда кто есть мать злая алчная Бог всевидящий придет возмездие посылочку передаю орехи не отравись рыба не подавись мясо не переешь яблоки улыбнись твои любимые ранет кулич посвятись носки натянись духи надушись мыло умойся варенье оближись наперед поздравляю с днем рождения думаю тебе понравится носи на здоровье да не забывай свою мамку звони почаще очень скучаю тяжело работаю с ног валюся хочу к тебе люблю Толечка сделал фото видишь я держу в руках маргаритку а солнышко мешает смотреть все все наконец я теперь бабушка радость какая . . .

Прочел: The place was full of ticking, like crickets in September grass.» (комнатка в часовом стрекоте, как сентябрьский луг в кузнечиках). Понравилось. Вспомнил Пастернака.

*Текли лучи. Текли жуки с отливом,  
Стекло стрекоз сновало по щекам.  
Был полон лес мерцаьем кропотливым,  
Как под щипцами у часовщика.*

Чуть ниже: «... and the day like a pane of glass struck a light sharp blow (а день, как лист стекла, звенящий после легкого и резкого удара)». А вот как у Пастернака (о полдне):

*Он рухнет в ребрах и лучах,  
В разгранке зайчиков дрожащих,  
Как наземь с потного плеча,  
Опущенный стекольный ящик.*

Приятно ловить себя на вкусовой последовательности.

Как-то понравилось название одного французского романа — «Гибель всерьез». Обрадовался, вспомнив потом пастернаковское:

*Но старость — это Рим, который,  
Взамен турусов и колес,  
Не читки требует с актера,  
А полной гибели всерьез.*

Но самая большая радость случилась со мной на улице. Впереди меня, метрах в сорока, шли женщина и мужчина. Ее тень, походка, неслышный перестук каблучков растрогали меня. Я подошел ближе и увидел, что это женщина, которую я уже давно люблю.

В один из наездов к близким я нашел в письменном столе отца газетные вырезки его статей. Как ни странно, там были, главным образом, футбольные репортажи и обозрения. В отделе информации отец никогда не работал и спортивные заметки вызвался писать сам. Я прочел их и восхитился. В них были темперамент, знание, фантазия. В одном из обозрений «Гол забить — не поле перейти» — отец дал настолько остроумные и в то же время строгие определения атаки, паса, штрафного удара, что я даже подумал: а не послать ли это в «Спортивную газету» или еженедельник «Футбол — хоккей». Самая ветхая и желтая, как лист из гербария, вырезка была датирована июнем 1949 года. Сколько же лет было тогда отцу: тридцать шесть? Да, тридцать шесть. Вот она.

### БЛАГОДАТНЫЕ ПЛОДЫ ВЕЛИКОЙ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Бессмертные произведения Пушкина стали настольной книгой буквально каждой советской семьи. Великий поэт нашел путь к сердцу и разуму каждого гражданина, потому что эта страна, сбросив с себя оковы капиталистического рабства и установив власть трудящихся, свершила на основе советского строя, на основе победы социализма величайшую культурную революцию.

Было время, когда капиталистические страны кичились перед Россией своей «цивилизацией». Было, да давно прошло! Сбылось предвидение великого русского демократа Белинского, писавшего о том, что он завидует внукам и правнукам своего поколения, которым суждено увидеть Россию во главе образованного мира, дающего законы и науке и искусству и принимающей благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества. Ныне наша Родина является страной самой передовой в мире культуры, светочем цивилизации, знаменосцем самых передовых идей всех времен и народов.

Где уж теперь заправилам капиталистического мира «кичиться» своей культурой! Их «культура» не только осталась далеко позади — она давно погрязла в маразме, выродилась, сгнила на корню. Всегда далекая от народа, органически чуждая ему, буржуазная культура в наше время окончательно обнажила свое лицо — лицо служанки эгоистических, корыстных интересов верхушки монополистического капитала.

В яркий и радостный праздник социалистической культуры превратилась подготовка к отмечаемому завтра 150-летию со дня рождения великого русского поэта Пушкина.

Столица нашей Родины — Москва и славный город Ленина, Украина и Белоруссия, Грузия и Азербайджан, Средняя Азия и Прибалтика, Урал и Сибирь — вся необъятная наша страна от Тихого океана до устья Дуная, от Заполярья до Памира чествует память великого поэта.

Случайно ли это? Конечно, нет! Такова природа, таковы преимущества социалистической культуры, обогатившей, неизмеримо расширившей духовный мир каждого советского человека. При жизни Пушкин мог только мечтать о том, чтобы его имя назвал всяк сушущий на земле нашей Родины язык. Мечта поэта сбылась лишь в наше, советское время, когда все сокровища культуры стали достоянием широчайших народных масс.

Год от года, день ото дня все богаче, все обильнее, все разностороннее становится наша советская культура.

Растут кадры интеллигенции всех специальностей, вышедшей из самой гущи народной. В высших учебных заведениях нашей страны обучается 734 тысячи студентов, а вместе с заочниками — больше миллиона. 34,5 миллиона советских детей, юношей и девушек учатся в начальных, семилетних, средних школах и техникумах. Непрестанно возрастает сеть городских и сельских клубов, библиотек, театров и других культурно-просветительных учреждений. Множится число выдающихся произведений советской культуры и искусства.

Отмечая юбилей своего великого поэта, народы нашей страны с особым чувством произносят в эти дни его вдохновенные, бессмертные строки:

Ты, солнце святое, гори!  
Как эта лампада бледнеет  
Пред ясным восходом зари,  
Так ложная мудрость мерцает и тлеет  
Пред солнцем бессмертным ума.  
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Померкла и истлела «ложная мудрость» трубадуров капитализма, твердивших, что эксплуатируемым никогда не обойтись без эксплуататоров, что капиталистический строй «вечен», что трудящимся не хватит «культурности», чтоб построить новую жизнь без капиталистов, на основе сотрудничества и братской взаимопомощи свободных от эксплуатации людей. Измышления этих «ложных мудрецов» опровергнуты всем ходом исторического развития.

Силы старого, отжившего свой век, капиталистического мира еще пытаются повернуть вспять колесо истории. Тщетно! Силы социализма и демократии непобедимы. Великие идеи коммунизма, идеи Ленина-Сталина, подобно яркому солнцу, осветили человечеству путь к счастью и прогрессу народов, к безграничному развитию производительных сил, к всестороннему расцвету культуры.

Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Как медленно, медленно, медленно раскручивается маховик. Еще минуту тому назад ты шел улицей, вдыхал воздух и выдыхал слова. Теперь ты дорвался до бумаги — сейчас посыпется, как черешни из-за пазухи. Но потерпи. Еще, еще мгновение, чтоб вскочить на подножку своей любимой, единственной, невозможно жить без которой, повести на полном ходу. Пусть охнет женщина, пусть пробормочет «сумасшедший», а ты улыбеешься белыми острыми зубами. Разве есть счастье большее, чем писать от первого лица?!

А на террасе девочка с мячом — о Боже! Мяч торжественно летит по дуге, и пальцы неуверенно, словно вспоминая что-то, трогают синюю с красным резиновую кожуру и тяжелеют. Игра в «десятки» с девочкой — с каждым ударом все ловче. Чет. Нечет. Головокружение. Плавно падающий лист в конце лета. Девочка с мячом — о Боже! Сейчас вы расстанетесь. Кончается третья смена. Синеватый — от автобусов — душок бензина, таинственные взгляды старшеклассниц; влажнеют гайморовы полости. А площадка еще забрызгана детьми — за ними приедут машины с острыми плавниками и навсегда, до следующего июня, развезут по мальчику, по девочке, по прозрачному голоску, по исцарапанной коленке, по маленькой и твердой, как зеленая майская сливка, груди. Там, далеко за сугробами уже пружинисто горнит горнист; здесь: охра в горле, помятый обходной в руке. Ты все сделаешь? Ты ничего не оставляешь? Девочка на террасе. Следы ее пальцев, пахнущие земляникой, пять сустков нежности на пуговичной перепонке воздуха. Падающий лист в конце лета. Пльютится дождевая капля о ключицу.

Все люди росли в детдоме. Некоторые забыли об этом. Некоторые помнят. Я помню. Вчера я провожал маму. Дул ветер. За спиной была плохая погода. Визжали самолетные двигатели. Всех пассажиров собрали за сквозной железной оградой, а потом повели по бетонному полю. Я плакал. Нелепые, с тюками, чем старше — тем младше, они шли по-детдомовски, а где-то впереди маячила спина Януса Корчака. Ночью мне приснилось бесшумная туго спеленутая субмарина. Утром не позавтракал и понял: мама уехала. Сегодня же улетает в Москву девочка «не позже

одиннадцати». Те, кто остаются, скучают больше. И еще одно кажущееся наоборот: приехал мой университетский товарищ. Дороги наши совсем разошлись. Мы спорим не словами. Так что его приезд можно приплюсовать к разлукам.

Самый громкий дождь в моей жизни стучал ночью в крышу лагерного корпуса. Колыхались взъерошенные, расхристанные тени деревьев на стенах. Мальчикам в лагере страшно. Девочкам нет. Я в образе девочки: с раскосым именем Ира, с зеленоглазым — Лина, Али — с голосом, словно на одуванчик смотрит. Кто я: воспитатель? ребенок? Я размахиваю подушкой в облаке пуха и перьев и тут же отворяю дверь и кричу себе: «Брось подушку!». В самом тайном — продирались царапины на щеках — уголке, между листьями, небом и землей мне говорит девочка:

— Ты никому не расскажешь?

Она распаивает кулак. Искрятся зеленые осколки июня, красные — августа, голубые — балтийских вечеров. Обжигая подушечки, ты подносишь их до ресниц, до рези. Мы откапываем яму. Мы схороним эти стекла, чтоб маяться зимой, чтобы хотеть вернуться сюда, по-оленьи разгresti снег, чтоб брызнули наши ягоды. В восточных сказках юноши развязывают котомки, и пока ветер разносит их годы на все четыре стороны, юноши на глазах превращаются в старики. Разноцветные стекла. Наши секретки. Пусть и через тысячу лет распахнется девочка кулачок.

— Нет, никому. Никогда. Ни за что.

Помнишь ли, время, Игорь? Нашу первую учительскую зиму в Карпатах. Белизна и хруст. Мы прибегали с пересохшими ртами после шестого урока в расстегнутых — в интернате все рядом — пальто и, отбросив общие тетради с поурочными планами, подносили синие от холода и мела пальцы к трем никогда не выключаемым электроплиткам, трем раскаленным крабам, и пальцы оживали. Потом наливали упрое вино в кружки и с лязгом чокались, выбивая искры. Об оконные стекла позвякивал вязкий январский воздух, а ты улыбался летучей, как запах вина, улыбкой. Вечером приходили братики Слыжуки и пятиклассница, в которую мы оба были влюблены, Орыся Терен. Свет и тепло в ее глазах и дыхании; за хрупкими лопатками — астральный холод и тьма. Мы занимались английским. What is it? It is a pen. What is it? It is a book.

Девочка, ты не звонишь мне из Москвы. Забежала твоя подруга, принесла книгу. Она ничего не помнит про себя в лагере, кроме ночного дождя. Я вернулся к уже написанному абзацу и вставил предложение про дождь.

Кончается третья смена!

— Я не подпишу вам обходной, Люстрин, — говорит каשתлянка, — у вас недостает двух наволочек.

Я поворачиваюсь и бегом устремляюсь назад. Тихо и пусто на поляне сборов. Одиннадцать вечера. Я поправляю простыни на своих мальчиках; они уже спят, и сны про Черную руку повергают их в сладчайший, тишайший ужас. Ворота с кустарной надписью «Жемчужный берег». Мы спускаемся гурауфскими винтовыми улицами, и вот уже море бросает к нашим босым ногам охапки белой сирени. В полдень на этом отрезке пляжа, дрожа от нетерпения, ждали дети команды плаврука: «Раз, два, три!» Мы плывем, разгребая густую, как ночь, воду, и наши тонкие кисти покрываются пузырьками и становятся похожими на две ветки кипящей сирени. Рядом твое смуглое тело. Плеск волос. Как светятся на твоей груди две белые розы, две белые голубки!

Я все бегу. Назад. Назад. В дедушкино лето. Брызнули косточки из зеленого нежноколючего туннеля трубочки; сердце сжалось в кулачок; еще молодой дед; липкие стволы черешен; густые капли винограда; я целую его в улыбку. Деду, у меня болит зуб. Он — сухопарый, фельдшер, высокий, в белом халате, перед замкнутой дверью кабинета, с гвоздем в руке, ах, поцарапался, а двери уже отворены, скрип застекленной дверцы, воскресенье, ярлычок «камфорное масло». Я спасен. Вечером на ступеньках санаторного домика я играю в подкидного с медсестрой Валею при свете ее халата; ничего, ничего не видно — ни моих, ни ее карт, а мы все играем, как под гипнозом; ее лицо рядом;

затмение луны; поцелуи — зайчики по лицу. Потом она смачивает платок слюной и стирает помаду с моих щеки и губ; ярче помады горит мое лицо.

— Деду ни слова, — то ли ласково, то ли с угрозой шепчет она.

Кончается третья смена. Завтра закупорят окна, заколотят двери, повесят на ворота тяжелый замок. Я сажусь в последний автобус. Перечитываю написанное. Оглядываюсь в последний раз. Наволочек я не нашел. В бухгалтерии обкома союза у меня вычтут за них из зарплаты. Глупо, но что поделаешь?

Кьеркегоровское «собственно человеческое — это страсть» растворено в романе, как соль.

Иногда вечером среди светящихся городских окон замечашь душераздирающе яркие. За окном Фолкнера — все лампочки мира. Об энергии художника говорить трудно: она неуловима, ибо проявляется не в сюжете, не в мотивах, не в так называемой идее, и в то же время она пронизывает все. Книга может быть вторичной, банальной, на грани традиции, но если в ней есть писательская энергия, от книги трудно оторваться. Эта энергия диктует особый ритм: синтаксический, образный, событийный. Романы Достоевского похожи на историю болезни эпилептика. От приступа, с судорогами и битьем головой об землю, — через ремиссию — к новому приступу. От грандиозного скандала, после которого, казалось бы, лучше умереть, чем появиться в следующей главе, — через затишье — к еще более грандиозному скандалу. Энергия Фолкнера реализуется в монтаже; он стыкует нестыкуемое; это относится к искусству стлавкивать слова, предложения, ситуации, персонажей. Только искры сыплются. Весь объем своего романа он держит на весу. Он непредсказуем. Что ни слово — снег на голову.

Найдите-ка у Фолкнера незначительных родителей. Они могут быть слепцами, фанатиками, пьяницами, но они всегда во всех фолкнеровских книгах значительны. В этом — отношение писателя к прошлому. Корням. Один из героев романа «Свет в августе», священник Хайтауэр, читает своим прихожанам необычные проповеди: в них Иисус Христос смахивает на отчаянного наездника, библейские легенды переплетаются с рассказами о военных подвигах южан, а земля иудейская пахнет табачной плантацией. Родословная Фолкнера — это родословная юга. Его предки командовали кавалерийскими полками, становились жертвами вендетты, сами кладнокровно разряжали револьвер в грудь врага. Прадед его был не только лихим рубакой (он погиб от руки политического соперника), но и автором бестселлера «Белая роза Мемфиса». Я не о том, что творчество Фолкнера автобиографично. Я об истоках его энергии. «Кровь старше нас», — писала Марина Цветаева.

Две силы раздирают «Шум и ярость» — центристремительная и центробежная. Это относится и к «как» и к «что». Образы выламываются из романа, «предмет сечет предмет» морфология раскована, синтаксис — разнуздан; этот фактурный драматизм создает атмосферу книги больше, чем сюжетный. Когда-то славная фамилия отмечена печатью вырождения. В семье идиот, самоубийца, алкоголик, злодей. Все погромыхивает, позвякивает: вот-вот развалится, как самолет в воздухе. И все же: в романе каждый жест, и ход, и пауза — непреложны, подчинены художественной логике. То, что две трети «Шума и ярости» написаны от лица трех персонажей, — не формальный прием. Таково фолкнеровское миропонимание: «я» — центр солнечной системы; эти «я» пересекаются, но не совмещаются; они приговорены к одиночеству и непониманию, но, невзирая на приговор, пытаются преодолеть их.

Некоторых писателей хвалят за сдержанность, вкус, умение владеть своими порывами. В контексте десятилетия чья-то сдержанность и впрямь может показаться чуть ли не мужеством. Но. Писать сдержанно — это заведомо играть на ничью. Избыточность — мета гения. Фолкнер играл на выигрыш — без верхнего предела в счете.

В одном развлекательном фильме английскую принцессу интервьюируют корреспонденты. Где Вам больше всего понравилось во время последней поездки по Европе? На традиционный вопрос должен последовать традиционный ответ.

Мод, Брюссель хорош тем-то, Цюрих — тем-то. Принцесса так и начинает, но потом срывается и восклицает: «Ну конечно, в Риме!» Принцесса была счастлива там, потому что любила. Спору нет: интересны, значительны Гессе, Беккет, Антониони. Прекрасно, что они есть. Но. Но. Конечно же Фолкнер, Феллини. Пастернак. Рим!

Новаторство — это качественный сдвиг традиции. Джойс и Фолкнер были бы невозможны в англоязычной литературе без Шекспира. Это он работал с языком по-мясницки. Это его руки по локти в языке. Что ни строка, то белый карлик. Слав страсти и дурного вкуса.

При чтении разбегающейся прозы Фолкнера мысль о бесконечности и безграничности Вселенной становится ошутимой и реальной.

Внутренняя коллизийность искусства заключается в том, что художник пытается духовное выразить через материальное. И вот какая странная штука получается: чем предметней и вещней произведение искусства, тем ближе оно к Богу; чем сокровенней оно — тем общественной.

Уже апрель. Ты вернулась. Идет дождь. Мы стоим у раскрытого окна. Я слизываю капли с ее лица. Я целую воздух со следами ее ресниц и не могу остановиться. Наверное, мы скоро расстанемся.

В ту пору, когда я не только впервые понял, но и ощутил, что женская кожа и губы отличаются от моей кожи и губ, весь город танцевал под танго «Маленький цветок». Четверо молодых людей с не по моде длинными волосами уже репетировали где-то в Ливерпуле бит-революцию, а мы с какой-то напряженной серьезностью — два к одному, два к одному — перемещались под завораживающую кукольную мелодию, не разговаривая, не улыбаясь. Быть может, из-за этого танго, которое ныне не так уж многие помнят, мы оказались ближе к своим старшим братьям и сестрам, чем к младшим. Так вот, именно в том году, буквально за несколько месяцев до первого инсульта, отец упомянул один факт из своей биографии, который, уже после смерти отца, заставлял меня, по крайней мере мысленно, перенестись в далекую военную зиму, когда отец еще не познакомился — да и знать не знал о приближающемся знакомстве со своей будущей женой, то есть моей матерью. Дело обстояло так. В первую военную осень ежедневно обивал пороги военкомата, прося, настаивая, требуя отправки на фронт. Молодежную газету, которую он редактировал, не прикрывали до тех пор, пока фронт не приблизился вплотную. Тогда, наконец, отцу дали два кубаря, но откомандировали не на запад, а на восток, в город Куйбышев. Там тоже никто толком не знал, что с отцом делать: дивизионные газеты были уже забиты журналистами и прикнужившими к ним писателями, которым служба в военной прессе представлялась более осознанным вкладом в дело защиты Отечества, нежели эвакуация, неустроенный быт временных прибежищ и корпение над бумагой в не-топленных — так что чернила превращались в фиолетовый осколок льда — комнатных шкафах. Нет зрелища более плачевного, чем здоровый безработный мужчина. Отец мыкался, стучал во все двери, пока не достучался. Он получил направление в некий пункт Куйбышевской области, где, как ему объяснили, нуждались в толковом политработнике. Все вышеизложенное я вспоминал, сидя с авторучкой у стола, почти без усилий, хотя слышал об этом десять с лишним лет назад, вскользь, не подозревая, что вся эта история — назовем ее так — впоследствии окажется для меня несравнимо более важной и значительной, чем она представлялась отцу. Дальше — хуже. Дальше — не события — но отношение к ним, не последовательное изложение, а обрывки фраз, слова, жесты. Голос отца: проволока . . . поддон . . . запах селедки и сивухи . . . допросы. Потом более связно: лагерные ворота, колонны — не с песней, портретами вождей и кумачом, а — под жестяные марши декабря — с обреченностью в поступи, угасшими лицами. И ты, ты, отец, рядом, плечом к плечу, «толковый политработник» рядом с раскосым конвоиром, тебя поставили тут, дали два кубаря, в снеговороте завирухи, бьешь, бьешь правым носком сапога о левую пятку и снова — левым о правую; опущены уши ушанки и те-

семки завязаны бантиком; слезы на твоих глазах, щеки пунцовы; папа, ведь правда, это не ветер выбил слезу из тебя и не от мороза зарделась твоя кожа?! Вы, проклятые взрослые, кто жили тогда, почему вы не сгорели в огне стыда?! Вам никогда уже не распустить тесемок — они завязаны мертвым узлом. Так бейте же: левым о правую, правым — о левую!

К весне отцу удалось перевестись в дивизионную газету. Я благодарен ему за то, что он добился этого перевода.

Почему сараевским выстрелом стал для меня Фолкнер, а не, скажем, поздний Сэлинджер, читая которого, я никак не могу решить: то ли я это сам написал, то ли это обо мне написано. Как-то Квентин, возвращаясь на каникулы домой, высунулся из вагонного окна и перекинулся несколькими словами с незнакомым негром, сидевшим неподалеку верхом на муле. Разговор получился пустячный, но это был классический диалог двух южан: черного и белого. Почти ритуальный обмен шутками, причем каждый из собеседников соблюдал правила игры не по договору, а потому, что эти правила впитал с молоком матери. Фолкнер взял меня не щедростью, не свободой, не мастерством. В последний приезд ко мне мама оставила прошлогодней давности фотографии. На них наш сад: на веревке для сушки белья висит целлофановый мешочек в капельках то ли дождя, то ли росы: все залито солнцем: сплошные блики: и две фигуры: трехлетняя соседка Катенька с любимой куклой в руках и я — в листовых прохладных руках сада, молодой и веселый, словно снимок сделан десять и юней тому. Фолкнер для меня свой, не в семейном — в самом высоком смысле этого слова. Я работаю учителем и знаю: среди детей — много взрослых; правда, меньше, чем среди взрослых. Фолкнер с упрямством и неистовством мальчика, исключанного крапивой и ливнем, пытался разомкнуть литературу на дыханье, на мгновение, на жизни. Есть замечательные, грандиозные писатели, оставившие после себя всеми читаемые и почитаемые литературные произведения. Фолкнер не писал литературных произведений — их пишут взрослые. А он был поэт.

Я не разбираю его; не учился; не подражал. Я разговаривал с ним — он ведь свой — и вот что из этого вышло. Наверное, что-то получилось живым, что-то осталось тенью. Боюсь, Девочка так и не материализовалась. Я склонен это объяснить тем, что, пока повесть писалась, Девочка была рядом со мной во времени. Быть может, лет через пять или пятнадцать я скажу о ней лучше и точнее. Вчера вечером в чужом доме меня мучила вполне интеллигентная супружеская пара: они требовали объяснить, почему роман «Великий Гэтсби» — хороший роман. С ощущением безнадежности и отчаяния я снова и снова объяснял, буксовал, трепыхался; а они снова и снова не понимали и все ждали чего-то. Я б так и умер там с хрипом и пеной на губах, если б горячий профиль Девочки не крикнул им:

— Он все, все сказал!

Разве я могу написать о ней как надо. Ведь она еще, слава Богу, не эстетическая реальность, но самая что ни на есть жизнь.

Остались считанные минуты. Я вспоминаю синие, утконосые, послевоенного выпуска автобусы. Как горько нам было возвращаться в них из города, где мы за субботу и воскресенье проматывали месячный заработок, в интернатский уют. На пятом-шестом часу пути, на крутом подъеме или смертельном спуске, автобус останавливали седовласые просмоленные гуцулы. Они входили в него, как в хату, и говорили «Добры-день». Я всегда завидовал людям, умеющим быстро и решительно прощаться. Вот я стою в передней. Плащ застегнут, шляпа в руке, а я все тяну и тяну. Ну вот — кажется, все.

Март-апрель. Киев.

Из книги «Альбы и серенады» «R. R. PRESS», 1985

Примечание: цитаты из Фолкнера — в переводе с английского О. Сороки. Журнал «Иностранная литература»

# ФАНТАСТИЧЕСКОЕ В РАННЕЙ ПРОЗЕ Н. В. ГОГОЛЯ

Сперва настроим оптику, наведем фокус. Чем удаленней от нас автор, тем больше риск совместить его собственную жизнь с жизнью его персонажей. Возможно, через сто лет «Война и мир» будет представляться читателям художественным документом эпохи, написанным очевидцем, а шестнадцать лет, прошедшие со дня Бородинского сражения до дня рождения графа Л. Н. Толстого попросту выпадут в исторический осадок.

С гоголевскими «Вечерами на хуторе близ Диканьки» тоже порой происходит оптическая aberrация. И дело тут не только в том, что вечерний воздух смазывает контуры и перекрашивает всех кошек в серый цвет. Вещи зрелого Гоголя современны ему самому, и репутация писателя остросовременного, каковым Гоголь и был, сказывается на нашем восприятии его раннего творчества. Есть и другая причина исторической смазанности «Вечеров». Для русского и, шире, российского читателя колорит этих повестей определяется прежде всего местом, в географическом, краевом, этнографическом смысле, а не временем, эпохой. Грубо говоря, «Вечера» — это Украина, Малороссия, а не XIX, XVIII или XVII столетие. Украина в русском восприятии представляется чем-то вневременным, внеисторическим. На уровне быта, языка, материальной культуры, наконец, фольклора Украина в русском сознании существует. На уровне же истории — нет.

Между тем Гоголь в ненавязчивой форме дает понять, в каком десятилетии происходят события, описанные в «Вечерах».

«Минуто спустя, — это из «Ночи перед Рождеством», — вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величавость...

— Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев.

— Куда тебе царь! Это сам Потемкин, — отвечал тот».

Затем появляется и сама императрица Екатерина. По ходу разговора с запорожцами она бросает одному из придворных:

— По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира».

Если учесть, что Запорожская Сечь по инициативе Потемкина была упразднена в 1775 году, а «Бригадир» Фонвизина поставлен в 1770 году, то можно с точностью до пяти лет определить время действия «Ночи перед Рождеством». В «Майской ночи» о Екатерине уже сказано: «Блаженной памяти великая царица». Не раз в книге упоминается и поездка Екатерины в Крым. Императрица совершила эту поездку из Петербурга в Крым через Украину в 1787 году. Этот нехитрый экскурс в хронологию понадобился лишь затем, чтобы уточнить жанр «Вечеров». Итак, перед нами не просто фантастическое или романтическое повествование, но историко-фантастические повести<sup>1</sup>. Причем историческое необходимо автору, чтобы придать правдоподобие фантастическому: чего только в прошлом не случилось!

Книги ясного замысла доставляют наслаждение только когда ясно понимаешь их. Такова, к примеру, проза Томаса Манна. Ранние повести Н. Гоголя доставляют наслаждение, когда их воспринимаешь синтетически, а не аналитически. Темноты не поддаются объяснению. Они равновелики только темнотам. В лучшем случае, их можно описать. Путь к пониманию Н. Гоголя — это путь еще большего утмнения, сгущения его темнот. Естественно, для достижения этой цели необходимы разъяснения, толкования, сопоставления. Ибо чем больше мы апеллируем к смыслу, знанию, логике, тем дальше мы от Гоголя и ближе к достижению цели: утмнению темнот.

В литературу Н. Гоголь пришел на готовое. Удачливое такого рода сопутствует далеко не всем гениям. Гении целых культур вынуждены тратить силы на создание или внедрение жанров, размеров, законов стихосложения, языковых норм. От этого выигрывает их национальная литература, но лично они остаются в проигрыше. К тому времени, когда Н. Гоголь вступал в литературу, группа бывших царско-сельских лицестов уже утвердила свой школьный жаргон в качестве нормы русского литературного языка. Начинающие писатели могли этой норме следовать или, наоборот, оказывать ей сопротивление. К началу тридцатых годов романтическая школа, перекочевавшая с некоторым опозданием из Германии в Россию, не только теоретически обосновала себя, но и показала товар лицом и в поэзии и в прозе. Национальный колорит, историче-

<sup>1</sup> В «Сорочинской ярмарке» и «Майской ночи» события происходят в настоящем, но завязка обеих историй — в прошлом.

ские и фольклорные мотивы, мечтатели-индивидуалисты утратили свойства заморской валюты и стали расхожей монетой. Более того, эстетическая концепция немецкой школы романтиков к концу тридцатых годов XIX века эволюционировала в России в историко-философскую концепцию славянофильства, последователи которой свое учение называли «истинно русским». Уже самим названием повестей — «Вечера на хуторе близ Диканьки» — Гоголь вполне сознательно вписывает себя в определенный литературный контекст<sup>2</sup>.

Малороссийский колорит, благодаря А. С. Пушкину, К. Ф. Рылееву, В. Т. Нарезному, еще до Гоголя не был в диковинку русскому читателю. В 1817 году, опередив Гоголя на одиннадцать лет, в Петербург приезжает из Малороссии украинский дворянин Орест Сомов. Вскоре он становится влиятельным журналистом, публикует прозу и литературную критику. В 1823 г. в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения» в статье «О романтической поэзии» Сомов, словно обращаясь к тогда еще совсем юному Гоголю, пишет: «Но сколько различных народов слилось под одно название русских или зависят от России, не отделяясь ни пространством земель чужих, ни морями далекими! Сколько разных обликов, нравов и обычаев представляют испытующему взору в одном объеме России совокупной! не говоря уже о собственно-русских, здесь появляются малороссы, с сладостными их песнями и славными воспоминаниями». И ниже: «Но сколько мест и предметов, рассеянных по лицу земли русской остается еще для современных певцов и будущих поколений! Цветущие сады плодоносной Украины, живописные берега Днепра, Псела и других рек Малороссии... ждут своих поэтов и требуют дани от талантов отечественных».

Приехав в Петербург, Гоголь близко сошелся с Сомовым. Судя по рецензии О. Сомова на первую книгу «Вечеров»<sup>3</sup>, маститый литератор (ныне заслуженно забытый писатель) воспринял Гоголя как предсказанную им же планету.

Фантастическое в «Вечерах» соседствует и перескакивает с фольклорно-сказочным. Свои повести Гоголь буквально собирает из сотни исследований. В «Пропавшей грамоте», к примеру, использована легенда о запроданной душе, за которой отправляются в ад<sup>4</sup>. В основе «Вечера накануне Ивана Купала» — предания об Иване Купала, а «Сорочинская ярмарка» — легенда о черте, выгнанном из пекла, и о поиске чертом своего имущества и т. д. Как же Гоголь распорядился своим фольклорным хозяйством?

«На другую ночь и тащится в гости какой-нибудь приятель из болота, с рогами на голове, и давай душить за шею, когда на шее монисто, кусать за палец, когда на нем перстень, или тянуть за косу, когда вплетена в нее лента».

Даже по одному этому отрывку из «Вечера накануне Ивана Купала» видно, насколько авторская проза далека от первоисточника. Во-первых, Гоголь пользуется крупным планом (монисто на шее; лента, вплетенная в косу). Во-вторых, придает происходящему конкретно-чувственный характер. В-третьих, вводит элемент пародии («кусать за палец, когда на нем перстень»).

В каждой повести «Вечеров» взаимодействуют сразу несколько фольклорных сюжетов. Концентрация сказочного материала в них громадна. Гоголь сжимает целые сказки до размеров эпизода. В «Сорочинской ярмарке» сварливая Хивря, услышав стук в дверь, прячет кокетливо попавшего на доски под пологом. Этот фрагмент — усеченный сюжет народной сказки «Поп». Кстати говоря, в сказке конкретно-чувственное начало, несмотря на игривость ситуации,

полностью отсутствует. У Гоголя же оно играет не меньшую роль, чем сам сюжет: «Вот вам и приношения, Афанасий Иванович! — проговорила она, ставя на стол миски и жеманно застегивая свою как будто ненарочно расстегнувшуюся кофту, — варенички, галушечки пшеничные, пампушечки, товченички!»

Фольклорная фантастика представлена в гоголевской прозе не только на сюжетном — самом очередном — уровне. Вода, огонь, лес играют в «Вечерах» ту же роль, что и в фольклоре. А. Н. Афанасьев в статье «Ведуны, ведьмы, упыри и оборотни» отмечает, что в разных подозреваемых в ведовстве пытали по-разному: жгли каленым железом, вешали на деревьях. В Литве колдуний приманивали на кисель, который варили на святой костельной воде. «На Украине, — пишет А. Н. Афанасьев, — до позднейшего времени узнавали ведьм по их способности держаться на воде. Когда случалось, что дождь долго не орошал поля, то поселяне приписывали его задержание злым чарам, собирались миром, схватывали заподозренных баб и водили купать на реку или в пруд. Они скручивали их веревками, привязывали им на шею тяжелые камни и затем бросали несчастных узниц в глубокие омуты: неповинные в чародействе тотчас же погружались на дно, а настоящая ведьма плавала поверх воды вместе с камнем. Первых вытаскивали с помощью веревок и отпускали на свободу; тех же, которые признаны были ведьмами, заколачивали насмерть и топили силою...»<sup>5</sup>. В «Майской ночи» Гоголь, оставаясь верным украинскому обычаю, превращает ведьму в утопленницу, которая живет в пруду. В «Вечере накануне Ивана Купала» девушки бросают бесовские подарки — перстни, монисто — в воду: «бросишь в воду — плывет чертовский перстень или монисто поверх воды, и к тебе же в руки...»

Воспринимал ли Гоголь фольклор как фольклор, т. е. филологически? В известном смысле, да. В письмах он просил мать и близких присылать ему в Петербург фольклорные материалы. Самым внимательным образом штудирует писатель «Грамматику малороссийского наречия» Павловского. Он выписывает оттуда десятки украинских имен и, как отмечает Г. Шапиро, 136 пословиц и поговорок. Некоторые из них Гоголь использует в «Вечерах». И все же подход писателя к фольклору лишь с большими оговорками можно считать филологическим.

В двадцатых годах XIX столетия на Украине легенды, сказки, думы были еще частью живой литературы, а не только традицией. Они не нуждались в переоткрытии и возрождении, в романтизме как школе и программе<sup>6</sup>. В широком культурном смысле Гоголь был не в меньшей степени современником Ф. Рабле<sup>7</sup>, чем современником А. С. Пушкина или нашей с вами современницы, художницы-примитивницы Марии Приймаченко. Лично Гоголь, открытый сразу двум культурам — украинской и русской, — выиграл на патриархальности и периферийности Малороссии, которой в империи была отведена роль провинции. То, что петербургские, озерные, иенские, гейдельбергские романтики воспринимали как фантастическое, сверхъестественное, для Гоголя было естественным, не выходящим из ряда вон, житейским. «Романтизм» ранней прозы Гоголя столь же «натурален», как и его зрелая проза, проходящая по разряду «натуральной школы». Субъект — авторское видение — не менялись. Менялся объект. Попытки же подменить субъект, самого себя, приводили Гоголя к клиническим последствиям.

Театрализация прозы, инсценировки романов и повестей — жанр уже давно узаконенный, им никого не удивишь и не возмутишь. Гоголевские «Вечера» — это, условно говоря, «прозаизация» театра. Фантастическое в них носит характер водевиля.

<sup>2</sup> Ср. с названием повестей ведущего тогда прозаика-романтика А. А. Бестужева-Марлинского «Вечер на бивуаке», «Второй вечер на бивуаке», «Вечер на Кавказских водах в 1824 году». На прозе А. А. Бестужева-Марлинского лежит тень готического романа. В ней выставлен напоказ традиционный готический набор: трупы, призраки, клады, моры. У Гоголя утопленниц тоже хоть пруд пруди, но их роли исполняют комедийные актрисы.

<sup>3</sup> «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». № 94, 1831.

<sup>4</sup> Н. Гоголь, сознательно путая фантастическое и комическое, подменяет в повести «душу» — «шапкой».

<sup>5</sup> А. Н. Афанасьев. Древо жизни. М., «Современник», 1983, с. 395.

<sup>6</sup> Первый сборник стихотворений Т. Шевченко, вышедший в Петербурге в 1840 г., назывался «Кобзарь», т. е. народный певец, аккомпанирующий себе на кобзе. Трудно себе представить, что одна из пушкинских книг-поэм называлась, к примеру, «Гусляр».

<sup>7</sup> См. статью «Рабле и Гоголь» в книге М. Бахтина «Вопросы литературы и эстетики». М. Художественная литература, 1975.

«Боже мой! Чего только нет на этой ярмарке! Колеса, стекло, деготь, ремень, дыбуля, торговцы всякие . . . так, что если бы в кармане было хоть тридцать рублей, то и тогда бы не скупил всей ярмарки».

Ошибиться невозможно. Это Гоголь. Но не Николай Васильевич, а Василий Афанасьевич. Цитату из отцовского водевиля «Простак, или Хитрость женщины, перешитренной солдатом», написанного по-украински, Гоголь использовал в качестве эпиграфа в «Сорочинской ярмарке». На водевилях отца Николай Гоголь не только вырос. Уже в зрелом возрасте в Петербурге он пытался осуществить их постановку. В 1818 г. юный Гоголь переезжает в Полтаву, где в течение трех лет учится в уездном училище. Именно в этот период в Полтаве открывается театр, которым руководит основоположник украинской драматургии Иван Котляревский.

«Петро! Петро! Где ты сейчас? Может, скитаешься где-то в нужде и горе и клянешь свою долю; клянешь Наталку, потому что из-за нее остался без крова; а может (плачет), забыл, что я живу на этом свете».

Пьеса Ивана Котляревского «Наталка-Полтавка» была поставлена в Полтавском театре в 1819 г. А вот Н. Гоголь, «Майская ночь»: «Галю! Галю! Ты спишь или не хочешь ко мне выйти? Ты боишься, верно, что нас кто ни увидел или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод!».

Как Василь Гоголь и Иван Котляревский, Николай Гоголь понимает слово и фразу не литературно, а сценически. Речь его персонажей рассчитана не на читательскую, а на театральную аудиторию. Потому так гулка, громозвучна, зычна гоголевская проза. В 1821 г. двенадцатилетнего Гоголя принимают в Нежинскую гимназию высших наук. Гоголь играет комические роли в школьном театре. Целое поколение нежинских гимназистов вырастает на вертепной драме, на водевилях, на пьесах И. Котляревского. Вместе с Гоголем в Нежине учились Нестор Кукольник и Евген Гребинка. Первый дебютировал в литературе драматической пьесой «Торквато Тассо» и историческими пьесами<sup>8</sup>. Второй — Гребинка — прославился баснями — жанром промежуточным, близким к драматургии, — и текстами популярных романсов.

Но не только звучание, гулкость слова выдает пристрастие Н. Гоголя к театру. Ситуации, в которых оказываются его персонажи, тоже разворачиваются по законам классического водевиля.

«Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи . . . Как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворять дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок».

Голова, стряхнув с своих капелек снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а увидевши свет в ее хате, завернул к ней, в намерении провести вечер с нею.

Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.

— Спрячь меня куда-нибудь, — шептал голова. — Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.

Солоха долго думала, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами и капелечками в мешок.

Дьяк вошел, покряхтивая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами до ее обнаженной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:

— А что это у вас, великолепная Солоха? — и, сказавши это, отскочил он несколько назад.

— Как что? Рука, Осип Никифорович! — отвечала Солоха<sup>9</sup>.

— Гм! рука! хе! хе! хе! — произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.

— А это что у вас, дражайшая Солоха? — произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукой за шею, и таким же порядком отскочил назад.

— Будто не видите, Осип Никифорович! — отвечала Солоха. Шея, а на шее монисто . . .

. . . Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос казака Чуба . . . — Стучатся, ей-богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь».

Гоголевский водевиль не только динамичен и остроумен, но и фантастичен. Действующие лица то и дело меняют маски. У чертей в «Вечерах» свинные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла. Ведьма в «Майской ночи» оборачивается кошкой, а после утопленницей. Другая ведьма из «Вечера накануне Ивана Купала» оборачивается черной собакой, кошкой, старухой. В «Сорочинской ярмарке» Н. Гоголь описывает танцующих старух как театралных марионеток: «Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами . . .» Некоторые описания в «Вечерах» отличимы от ремарок разве что лексической выразительностью: «Гром, хохот, песни слышались тише и тише. Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на рокот моря, и вскоре все стало пусто и глухо». Театральная условность предполагает встречное усилие зрителя, а в случае Гоголя — читателя. Если это усилие не будет совершенно, то добротные декорации «Вечеров» могут показаться жалким картоном, а голосистые и бойкие статисты — раскрашенными пейзажами.

Жанр — романтическая история — определяется у Гоголя не только традиционным литературно-романтическим набором чудес, но и типом рассказчика. В «Вечере накануне Ивана Купала» пасечник Рудый (т. е. рыжий) Панько читает вслух историю, некогда рассказанную дьячком Фомой Григорьевичем. Дьячок возмущенно спрашивает:

— Что вы читаете?

— Как что читаю, Фома Григорьевич? вашу быль, ваши собственные слова . . .

. . .  
— Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! Бреши, сучий москаль. Так ли я говорил? Що то вже, як у кого черт-ма клепки в голове! Слушайте, я вам расскажу ее сейчас».

Дьячок, выражаясь филологически, возмущается подменной устной речи — письменной. Он не желает узнавать своих слов не потому, что их подменили, а потому, что их перенесли из звуковой стихии в типографский стандарт. В «Вечерах» несколько рассказчиков: сам пасечник Рудый Панько, дьячок Диканьской церкви Фома Григорьевич, панич в гороховом кафтане, так и не появившийся незнакомец, который «такие выкапывает страшные истории, что волосы ходили на голове». Но все они относятся к одному и тому же типу рассказчиков. Читая — слушая — их, испытываешь соблазн дать внетекстовые дефиниции некоторым устоявшимся жанрам. Поддадимся этому соблазну.

Приходилось ли вам засиживаться допоздна, до последнего посетителя в ресторане, таверне, трактире, чтобы переждать всех, выпить с официантом водки, раки или граппы? Несколько междометий, сказанных под закуску и горячее, нескольких жестов хватило, чтобы вы испытали, ну, если не чувство близости, то теплоту, расположенность друг к другу. Хотя бы потому, что вы друг для друга иностранцы, и чувство близости, тепла не чревато для вас обоих затяжной душноватой дружбой. За виски, орухо или конья-

<sup>8</sup> Судя по идиотски-напыщенным письмам и заметкам Гоголя, именно он метил в Кукольники русской литературы. К счастью для последней, природный дар перевесил природную глупость.

<sup>9</sup> Кстати говоря, этот диалог Солохи и дьяка В. Шкловский приводит как пример «эротического остранения». «О теории прозы», М., «Федерация», 1929, с. 18.

ком он рассказывает вам, его лучшему другу, свою жизнь, свою сыновью, любовную, отцовскую драму. «Ты понимаешь, — говорит он в конце, — да это же не жизнь, а роман! Какую книгу можно написать». Подобная ситуация, с той же заключительной фразой возможна, например, в поезде, со случайным пассажиром в роли откровенного собеседника. Антураж может меняться, обязательны лишь два условия: интимность беседы и ее случайность, неповторимость. Итак, отважимся на первую дефиницию: эпический роман — это восприятие, понимание и пересказ собственной жизни как литературного произведения.

А вот другая ситуация. Вечер. Дюжина спальных мешков. Пионерский или скаутский палаточный лагерь. Впрочем, это может быть барак каторжан или заключенных. Все, кроме одного, молчат. Один рассказывает, остальные слушают, сопереживают. Рассказ может быть пересказом Артура Конан-Дойля, Эдгара По или собственных приключений. Условие одно: речь должна идти о сверхъестественном, чего в жизни не бывает и быть не может. Попытаемся сформулировать вторую дефиницию: полет полуночной фантазии в палатке или в бараке под аккомпанемент гробовой тишины — это и есть романтическая история.

Вернемся к Гоголю. Эпического романа он так никогда и не написал. На месте откровенного официанта (пасажира) его просто невозможно представить. Не тот характер, не та натура. Предел гоголевской эпичности — поэма в прозе. При этом рассказчик он прирожденный, причем историй сверхъестественных. Так что недаром пионеры или бойскауты из интеллигентных семей рассказывают своим союзникам или сокамерникам не только о докторе Мориарти или золотом жуке, но и об утопленнице или о Вие. Что до гробовой тишины, то тут с Гоголем не так просто, как с Артуром Конан-Дойлем или Эдгаром По, ибо она то и дело дает трещины и обрушивается смехом.

В прозе Гоголя смех сводит на нет все макабрическое. Макабр пародирует сам себя, благодаря чему только набирается сил. Вот пример из «Майской ночи». Теща винокура, рассказчика, кормит свою многодетную семью галушками. Вдруг откуда ни возьмись незваный гость, незнакомец. В мгновенные ока он съедает один казан, потом другой: «А чтобы ты подавился галушками», — думает теща. Гость тотчас поперхнулся, упал и испустил дух. Но с того времени покою не было теще. Чуть только месяц, мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу, проклятый, и галушку держит в зубах.

В настоящем макабре все было бы всерьез. Был бы непрошенный гость, но не было бы легкомысленных галушек на столе. Скорее всего, хозяева спали бы или отходили ко сну. Был бы таинственный скрип, шорох, метались бы тени. И гостю бы дали ведро воды, и вдруг хозяйка увидела бы в ведре отражение дьявольских рожек, и забодилась, заверещала: «Чур меня, сила нечистая, сгинь-пропай». Черт бы сгинул, пропал, но после каждую ночь являлся бы в дом скрипом половицы, завыванием ветра в трубе, уханьем совы, стоном завирухи. У Гоголя все сведено на нет галушками. В привидение с галушкой в зубах веришь, то есть, благодаря галушке веришь в привидение. Так элемент пародийности выручает, вытягивает целую литературную школу. М. Бахтин справедливо проводит параллель между Гоголем и Рабле. И тот и другой выбирают себе богов, у которых есть чувство юмора. И для Рабле и для Гоголя то, что смешно, — то возвышенно. Гоголевские школяры-бурсаки или бродяги-дьяки вставляют в свою речь латинские выражения и слова лишь затем, чтобы продемонстрировать тяжелый хохлацкий акцент. Серьезность неубедительна и бледна. Привидение, суть которого в бесплотности, реализуется в сознании читателя, лишь когда оно предельно плотное, осязаемое, плотское.

Публицист и писатель В. В. Розанов, проповедник семейственности и интимности, а значит, антипод Гоголя не раз в сердцах называл «Вечеров» чертом, сатаной, страшным хохлом, идиотом. Благодаря этой трогательной и верной нелюбви Розанов сделал много любопытных наблюдений о гоголевской прозе. К примеру, он остроумно заметил, что лишь покойницы у Гоголя по-женски притягательны. Розанов усматривает в этом свидетельство

извращенной природы писателя, склонность к некрофильству. Между тем объяснение здесь следует искать не психологическое, а чисто литературное, формальное<sup>10</sup>. Утопленницы и покойницы должны быть аппетитными, а живые девчата слегка эфемерными, малеванными, иначе текст перестает быть художественным. Этот принцип, который можно было бы назвать «принципом негатива», один из самых продуктивных в литературе<sup>11</sup>. Вещное, материальное входит в читательское сознание, лишь когда оно переведено в другой ряд материальности, вещиности. Скажем, слово «лес» промелькнет мимо глаз, не задев, не поцарапав, не пощекотав воображения. А вот если без слова «лес» текст зашумит, закачается и вцепится в волосы ветками, то из этого леса заблудившийся читатель уже не выберется. У Гоголя прием «негатива» в самых различных модификациях встречается сплошь и рядом. Чтобы добиться присутствия снега, он пишет не о самом снеге, который можно взять в руку, а о скрипе мороза, слышном за полверсты. Привидения же, чертей, всякую нечистую силу он материализует, овеществляет. Является ли для самого писателя то, что мы называем принципом или приемом, «приемом»? Вот отрывок из гоголевской статьи «О малороссийских песнях», свидетельствует о вполне осознанном отношении писателя к поэтике: «Песни их почти никогда не обращаются в описательные и не занимают долго воображением природы... Часто вместо целого внешнего находится только одна резкая черта, одна часть его. В них нигде нельзя найти подобной фразы: был вечер; но вместо этого говорится то, что бывает вечером, например:

Шли коровы из дубровы, а овечки с поля.

Вышла кари очи, край милого стоя».

Может быть, только А. П. Чехов, спустя шестьдесят с лишним лет, дал в «Чайке» столь же внятное определение метонимии: «Тригорин выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от маленького колеса — вот и лунная ночь готова...»

Собственно фантастическое, сверхъестественное обставлено у Гоголя фантастическим в фигуральном смысле слова, тем, что, вульгарно говоря, принято выражать фразой «It's fantastic!»<sup>12</sup>. Гоголь чемпион русской прозы по восклицательным знакам. Тут дело не в статистике, а в том, что восклицательная интонация создает атмосферу экзальтации, наэлектризованности. Восклицательный знак, как и чудо, предполагает разинутый рот, хлопанье глазами. Гоголь «фантастичен» не только на интонационном, но и на семантическом и пунктуационном уровнях. Придуманные им словосочетания — «замысловатые девушки», «косвенными шагами пустился бежать по кругу», «сабли страшно звукнули» и т. д. — вопиюще неправильны, но органичны<sup>13</sup>. Точка, отделяющая одно предложение от другого, у Гоголя зачастую условна, фиктивна. «Какое-то странное упоительное сияние примешалось к блеску месяца... Серебряный туман пал на окрестность. Запах от цветущих яблонь и ночных цветов лился по всей земле» («Майская ночь»). Здесь наше восприятие работает поверх точек. Глагол «лился» легко переносится с запаха яблонь на блеск месяца. А месяц перекочевывает из «Вечеров» в книги о «Вечерах». «Напев прозы Гоголя, как сияние месяца, струится в многообразиях словесных вариаций» (Андрей Белый. «Мастерство Гоголя»).

«С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит

<sup>10</sup> А. Синянский по этому поводу замечает: «... Розанов здесь подошел не к загадке физиологии Гоголя, а к загадке гоголевского стиля и гоголевского магизма». См.: «Опавшие листья» В. В. Розанова». Париж, «Синтаксис», 1982.

<sup>11</sup> Классический пример развернутого «негатива» — повесть Г. Уэллса «Человек-невидимка». Еще один пример развернутого «негатива» — «Мертвые души».

<sup>12</sup> Потрясающе! (англ.)

<sup>13</sup> Этот прием «неправильных слов» довел до совершенства В. Хлебников (см. исследования В. Маркова о поэмах В. Хлебникова и доклад А. Жолковского «Графоманский стиль В. Хлебникова» на хлебниковской конференции в Амстердаме в 1985 г.).

он. Земля вся в серебряном свете; и чудный воздух и прохладно-душен, и полон неги, и движет океан благоуханий... Недвижно, вдохновенно стали леса, полные мрака, и кинули огромную тень от себя».

Ночь становится не только временем, но и местом действия, если угодно, театром событий. Как и подобает месту, она ограничена в пространстве. Ее потолок — небо, ее нижний предел — земля. Есть у гоголевской ночи и задник: некая сфера, нечто вроде края земли, каковым представляли его средневековые схоласты. Не хватает — таков уж замысел творца — только стен. Но их отсутствие лишь облегчает работу сквозняка: приносить и уносить, как в театре леших, казаков, школяров, ведьм, упырей, селян. Ткань, из которой сшита эта ночь, может быть оценена в сравнении, по контрасту. Шелк шелковист постольку, поскольку шершав шевиот. Если сравнивать украинскую ночь с персидской или турецкой, то она покажется бледнолицей, анемичной, почти лишенной запахов. Турецкая ночь бросает вызов украинской не только потому, что она звездна, пряна и бархатиста. В украинский фольклор XVI—XVII столетий на роль вражеской силы, наряду с ляхами, москалями, жидами, приглашены и турки. Причем, судя по балладам и легендам, Украина и Турция схлестываются и перехлестываются не только на поле брани. Набеги и резня — не единственный способ общения двух народов. В популярном фольклорном сюжете о сестре, попавшей в турецкую неволю, парубок Иван не только бражничает с турками, но и продает им свою сестру, продает за «гроши». Попойка и торг — это форма диалога на уровне быта. Те элементы бытовой культуры Украины, которые в России чаще всего воспринимаются как типично украинские — оселедец, форма усов, казацкая одежда — заимствованы украинцами у турок. Даже эталон казацкой красоты в Запорожской Сечи не многим отличается от турецкого<sup>14</sup>. На лингвистическом уровне Украина тоже пересекается с Востоком. Такие смачные украинские слова, как бахча, килим, шаровары — персидского происхождения, кобза — музыкальный национальный символ Украины — тюркского. При этом оживленного литературного диалога — в силу многих причин — между Украиной и Турцией не завязалось. Так что гоголевская украинская ночь звездна, душиста и бархатна по контрасту с блеклой, петербургской.

На контрасте этих ночей первым начал работать Пушкин. В прозе поэта ночь, как таковая, сугубо описательна:

«Погода утихла, тучи расходились, перед нами лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна».

(«Метель»)

«...к вечеру все сладилось и пошел домой пешком, опустив извозчика. Ночь была лунная».

(«Гробовщик»)

«Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три».

(«Пиковая дама»)

Но зато в стихах Пушкин дает волю языку и дыханью: Тиха украинская ночь.

Прозрачно небо. Звезды блещут.

Своей дремоты превозмочь

Не хочет воздух.

(«Полтава»)

Гоголь не прошел мимо описания этой ночи, густо замешанной на «щ», «з», «ч», «х». Гоголевское «Знаете ли вы украинскую ночь? ...» — это ответный жест. И даже гоголевское — «Чуден Днепр при тихой погоде» интонационно и лексически навеяно все тем же «Тиха украинская ночь».

Гоголь был первым русским прозаиком, воспринимавшим язык прежде всего чувственно. Он стремится, чтобы читатель вместе с писателем осязал, слышал, видел. «Метафизическая» прозаичность пушкинской прозы ему чужда. Апелляция к органам чувств требует предельной языковой

экспрессии. Помимо украинских слов, вынесенных Гоголем в словарики-приложения, в гоголевском языке множество украинизмов. Русский читатель воспринимает их не столько умом, сколько памятью. Потому чтение Гоголя вызывает лингвистическое головокружение. Интонация, строение фраз в его прозе предполагает легочное, физическое сопереживание. Гоголевская проза отличается от догоголевской, как цветное кино от черно-белого. Причем цвет у Гоголя не обязательно выражается эпитетом. Слово «очи» — а «глаз» в «Вечерах» почти не встретишь — безусловно черное. Глаза с буквой «ч» посередине не могут быть другого цвета.

Новизна Гоголя, его «фантастичность» заключается в том, что он сделал русской прозе прививку украинской языковой чувственности. Дело тут не в украинских реалиях: именах, словечках, юморе, фольклоре, а в принципиальной переориентации литературного языка. Писатели-чужаки или, если угодно, приймаки, могут отблагодарить усыновившую их литературу не только тем, что приносят в нее извне. Благодаря свежему восприятию своей новой языковой родины они порой остро видят то, что прежде, примелькавшись, никому не бросалось в глаза.

Так совершаются открытия отдельных слов, интонаций, частей речи<sup>15</sup>.

Если бы Гоголь не стал языковым перебежчиком, то его проза воспринималась бы на родине тавтологически. Как-то Пушкин заметил: «От ящика до первого поэта мы все поем уныло». В основе русского литературного мышления — идея. И чем больше лихорадит идею, тем замечательней получается проза. Порой эта идея может быть обрамлена скромным узором. Украинское литературное мышление, за редким исключением барочно, орнаментально<sup>16</sup>. Смысл его в переплетении и ритме различных орнаментов, как во фразе о Катерине из «Страшной мести»: «Незаплетенные черные косы метались по белой шее». Гоголь терпел поражения («Выбранные места из переписки с друзьями»), когда изменял собственной природе и силился быть русее русских<sup>17</sup>. Отношение Гоголя к России — это типичная реакция истеричного эмигранта на границу. Для него туземцы — нехристи, немцы, нелюди, по-нынешнему, инопланетяне, которых и убить не грех. Гоголь так и поступает, вынося свое преступление в название «Мертвые души». После же кается и казнит себя: сжигает вторую часть поэмы.

И в заключение о главном. Герои «Вечеров», как и подобает левобережным украинцам, одеты в шаровары. Эти шаровары, словно дирижабли, летают в воздушном пространстве ночи, правобережной Украине, где в ходу узкие штаны-дудочки, то едва ли он написал бы прозу такого полета, размаха, такой объемной щедрости. На какой странице ни открошь «Вечера», в воздухе колыхнутся, реют, прыг, хлобыщут шаровары. Впрочем, если хорошенько приглядеться, надев на нос, по совету Рудого Панька, вместо очков колеса с комиссаровой брички, то замечаешь, что это колыхнется, реет, парит, хлобыщет сам ночной воздух, которым накачаны гигантского размера шаровары. Но чем глубже Гоголь укореняется в петербургскую жизнь, тем решительней перемены в гардеробе его персонажей. Шаровары, кожанки, плахты, сукни, черевички уступают место сюртукам, шинелям, вицмундирам, башмачкиным<sup>18</sup>. Но это уже иная тема, имеющая лишь косвенное отношение к молодой прозе молодого, но многообещающего автора из Малороссии.

Журнал «Синтаксис» № 21. 1988.

<sup>15</sup> К примеру, поэт из Чувашии Геннадий Айги открыл для себя, а заодно и для русских читателей, змеящиеся деепричастия, шуршащие суффиксы.

<sup>16</sup> Лучший украинский прозаик Василь Стефаник не барочен и не орнаментален — потому и лучший.

<sup>17</sup> По А. Белому «Раздвой Гоголя — следствие его стиснутости между двумя прослойками» двух разных классов».

<sup>18</sup> Гоголь скаламбурил, подмигнул своим. Одного из главных действующих лиц в «Сорочинской ярмарке» зовут Солопий Черевик. Салопа (от фр. salope) — старое пальто; черевичка (укр.) — башмаки, ботинки, сапожки. В «петербургских» повестях вместо салопа — шинель, а вместо Черевика — Башмачкин.

<sup>14</sup> О крене Украины к Востоку см., к примеру, книгу Ю. Шереха (Шевелева) «Друга черга», «Сучасність», 1978, стр. 372.

# ВЛАДИМИР АРИСТОВ

## К ПОСЕЩЕНИЮ БАХОМ СТОЛИЦЫ ПРУССИИ БЕРЛИНА В 1747 ГОДУ

Неотделимо тело от парика,  
Неотличима зеркальная гладь реки  
От завитков зеленоватых трав.

На что мне добротный костюм,  
Он и так запыленный лежит,  
Словно старый конверт на дне светлой реки  
В одна тысяча девятьсот сорок седьмом году.

Не надо и створкой зеркальной кареты  
Лучик чужой ловить,  
Чтобы светить в себя,  
Ведь в камере-обскуре забытой  
Все свалены в смехотворных позах,  
И кровь девятнадцатого столетия  
Похожа ныне на желе для бритвы.

Кто подскажет мне, как мне быть,  
Если тело всего лишь храм,  
Кто нашепчет мне в уши  
Улицей зеленоватой  
Королевскую тему и шестиголосый канон.

Как белесая медь вокруг разлита  
И в березах бирюзовая сыпь на запястьях,  
Ты ли думаешь, что возьмешь меня  
Гулом чугунным, идущим из ноздрей коня,  
Как посылку для века небудущего схороня,  
И химической надписью поджигая в воздухе,  
Отошлешь поклон.

Немота стены из зеркальных линз реки бирюзовой.

1983

В зале темно,  
Но елочный запах уже появился  
В темной золе неизведанных прежде предметов.  
Цифры в ракушечном сердце не спят.  
Пальцем их в диске сияющем тихо заводят...

И голос гудков сердцевин  
В вокзальной пыли отзовется  
Из щелей болевых пробудятся вихри  
всех швов позабытых,  
И павшие нити, что в щели соленой смолой убирали,  
Очнувшейся влажною стружкой завьются  
И палец уколют в ночи открывания двери  
прохладной и нежной.

1981

## СТИХОТВОРЕНИЕ В ТРЕХ ЧАСТЯХ

I

О детском равенстве, что плавилось под солнцем,  
Мы вспомним,  
Глаза коричневые прикрыв во тьме,  
На выставке счастья плечью подыдем переливные чаши  
фонтанов.

Но гроза в небесных покаях  
И железный зигзаг, оставшийся в бархате  
тульи заморской  
С влажной слезой в пыльном покрове лет.

II

Есть свет за светом света этого...  
Не шевельнет ни горя человека,  
Ни выкрашенной металлической листвы,  
Ни тех зрачков, что заняли полнеба,  
Куда мы в горечи направили штыки,  
Метнули их в провалы дальних сосен —  
В кирпичные зрачки без звезд.

И пред концом в перекрещеньи рук  
затрепетав зелеными и птичьими флажками  
И трассами истаявших снарядов с рук простертых  
Таинственной волнующей войною в человецех —  
Там, внутри людей.

Есть свет за светом ночи этой...  
И что бы ни сказал ты —  
Ты — говоришь ему, я — говорю тебе.

III

Глазами ты обводишь эту землю,  
Коричневые склоны  
Сухой земли и зимнего  
песка  
И камешки людской долины

Прозрачно горе.

Просвечивает пыль поднятая у пирса,  
Засыпана землей поникшей  
Зеленая морская даль.

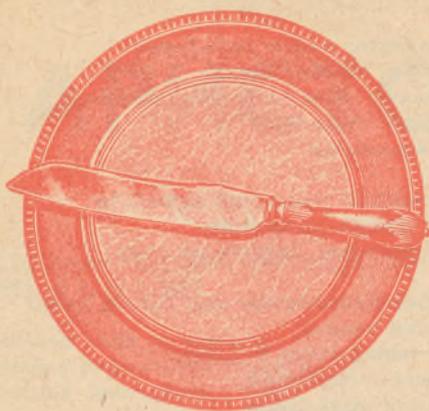
Кто раскурил бечевочку от грозного ракетного чехла...  
Когда пенал бесцветный распадется,  
Без грубых плеч и с острием на солнце  
Широкой тенью ляжет на лицо.

Откроется завеса глаз и медленных лесных  
тропинок,  
Река без имени течет на карте,  
В далекой тьме стоит бутылка из пыльного  
стекла,  
И раковины на столе прозрачна розовая пасть.

И море раздробилось брызгами в кораллы соли,  
Обрушившийся мол под светом затопив,  
Подняв глаза, ты смотришь,  
Как дышит сень магнитной тяги,  
И тянет холодком из пасти моря  
В забытой замшевой тряпице у стекла.

1982—83





## ИГОРЬ КЛЕХ

М. Эпштейну: «украинскость. советскость. русскость».

# САЛО

1. Имеет ли кухня отношение к судьбе народа, к его ментальности и философии?

Только безнадежно узкий ум может ответить на этот вопрос отрицательно. И все же такая связь обычно нами подразумевается, но не осознается. В чем тут дело?

В «близорукости» ли чувств осязания, обоняния, вкуса, побежденных более дальнобойными зрением и слухом? И в этом, без сомнения, также. Человеческая личинка тянет все в рот, и эта стадия глубоко оседает где-то в фундаменте взрослого человека, чьи чувства определяются приматом зрения и слуха и репрессией каннибализма.

Много ли слов в нашей культуре для обозначения вкуса? Кислый, сладкий, соленый, горький, терпкий, — вкусный, — пожалуй, все. Воистину, словарь примата.

И все же одно из самых диких таинств утонченной интуитивной культуры зовется пресуществованием и причастием. Есть, видать, что-то фундаментальное в репрессированном рационалистической культурой чувстве вкуса, что прошивает насквозь все уровни человеческого в человеке и торчит куда-то . . . в никуда.

Можно наестся и рыгать, можно «напертись горнятком каші», можно предаться пиршеству или гурманству, — но элиминируем жадность, — нас будет интересовать только утоление голода, подкрепление сил. Почему такой квинт-эссенцией сил в украинской этнокультуре предстает анекдотическое ныне (что также заслуживает особого интереса) мифическое САЛО? Что это за продукт такой, и что в нем?

2. Сало для украинцев, что для евреев Манна (и для греков яблоки Гесперид), — т. е., блюдо трансцендентное и судьбоносное, и, для расподобления — или «як то кажуть, в пику» — своим соседям южных рас, иудомусульманам, для н и х, без сомнения, трэфное.

Блюдо одновременно цивилизованное и сакральное, полемически заостренное. Поедание его подобно скольжению на лыжах.

В мире скоропортящихся на юге продуктов — оно нетленно и в чем-то эквивалентно золоту. В нем идущий от языческих толстых богов счастья культ изобилия, — библейский тук, — и сухой козацкий паек, бедняцкий н. з., посыпанный крутой солью чумацкого шляха.

В его вкусе отчетливы отголоски дороги, то ли его берут с собой в дорогу, то ли оно зовет в долгий путь по битым, утопающим в мягкой белой пыли, разъезженным шляхам Украины.

От тех еще телег, осей, кожаных сальниц тянется далеко идущая мудрость первых социальных механиков — «не подмажешь, не поедешь». И оттуда же тот специфический украинский «сум», печаль сидящего при дороге путника (ибо «сadlo» — праформа «сала» — это то, что осело, насело на мясе, — а отсюда и «сессия», и «заседание» . . .), да путника, затерявшегося в степи, сидящего под бескрайним небом, под облаками — этим салом небес.

К нему, как правило, достается цибулына и режется на четыре части, что облегчает наворачивание слез печальному ж р е ц у, оказавшемуся вдали от родного дома.

Продукт универсальный, — дающий свет, будучи вытоплен в каганце, или в виде сальной свечи. Дико калорийный, будучи срезан ножом тонкой «скибочкой». Усвояемость его прослеживается даже в фонетической форме имени — скользящее «С» и влажное глотательное «Л», — ао. Соленое сало, горько сладкий лук, горилка, пресный, чуть окисленный слюной хлеб — в чистом поле — вот фундаментальная трапеза степняка-славянина. От этой сцены гордость нарастает на сердце, как сало на свинье.

3. (резюме) Важно втриматись, аби не сказати, «сало — наше усе».

# БЛИН

«Блин брюху не порча».

Если срез мирового дерева спроецировать на русскую кухню . . . то выйдет блин.

Один из самых уникальных космогонических мифов заклю-

чен в русской байке о бабке, страпающей блины на плечи своего старика. С использованием солнечной энергии, разумеется. Вообще, отголоски солярного происхождения блинов отчетливы и для нас, уже не верящих ни во что. Ведь форма круга отнюдь не проще, скажем, треугольника, и дело здесь не в одной экономии.



Кухня — один из самых древних театров представлений, особенно в случае с блюдами основополагающими, приготовленными с минимумом средств: мука, вода, огонь. Немного масла.

Самое русское в печении блинов то, что это деятельность азартная, когда работа спорится в руках, — не смущаясь артефактами, пресловутым «первым блином». Так возникают созвездия оладий, хтонические деруны, блины ячневые, пшеничные, овсяные и гречишные, из пресного или кислого теста, со всевозможными начинками и без, — масляные блиночки, блинки и блинцы. Вообще, чаепитие с блинами и самоваром — ничто иное как модель вселенной, как русский национальный планетарий, где чашки с блюдами суть ходящие по орбитам Сатурны и Плутона, а обжигающий чай аналогичен жизненному солнечному свету, который, кстати, хитроумные русские научились улавливать и осаждать в желтизне масла и меда.

Так заселяются русскими, включаются в человеческий космос и поедаются планеты блинов, с поверхностью до того безжизненной и ноздреватой, — как мокрые фотографии луны.

Но самый напряженный вид блины приобретают на поминках, где подаются вперво: блины с икрой.

Горячие блины с холодной икрой — это перевертень, что саван, скрывающий гиперболу плодородия. Чреватая жизнью смерть.

В свете сказанного, монополия номенклатуры и госторговли на икру предстает ничем иным, как символической узурпацией права сильных на продолжение рода.

Не проникая в сознание, в самобтчет народа, мысль эта на излете Застоя вылилась в соборное безумие НЛО, — когда изможденные, недоедающие и дурно питающиеся люди, подняв голову, увидели вдруг над своей головой пролетающие, горячие еще, блины. Возмутительное их свойство заключалось в том, что очень трудно было вступать с ними в контакт. Но это же внушало и веру, что народ, рано или поздно, до них доберется.

Так возникали предпосылки Перестройки.

Характерно, что почти одновременно с информацией об НЛО возникло новое звонкое русское ругательство: «Блинн!», — как гулкая пощечина, сродни американской драке тортами.

Вот тогда партия поняла, что дальше перестройку откладывать нельзя.

# КОЛБАСА КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА



В мире материальном также, как выяснилось, существуют величины отрицательные и даже мнимые.

Одной из таких величин является колбаса.

Ошибаются те, кто думает, что величина эта довлеет и служит пищеварению, — отнюдь. Не голод она призвана удовлетворить (потому что голода в СССР давно нет), а либидо. Свидетельством тому является тот факт — и такое ее основное свойство, — что ее всегда либо нет, либо не хватает. Сквозь физическую ее природу и окутывающий ее психический облак просвечивает и искрит метафизика.

Как следует полагать, колбаса и являет собою тот фосфоресцирующий, субстанционально обманчивый фаллос, посредством которого партия осуществляет свое прокламированное единство с народом.

Эту скрытую природу колбасы с особой наглядностью выявила перестройка. Когда в партии отмерло несколько ее видных членов, и она временно прекратила пользоваться народ во все его 9 отверстий, и, занявшись интенсивным массированием головки собственного клитора, оставила за собою только 5 из них, народ вдруг распрыснулся, и увидев, что партия его больше не любит как прежде, — очнулся вдруг и потребовал гневно колбасы, угрожая, в противном случае, разводом. Но как ни напрягала партия все свои фаллопиевы трубы последующие пять лет, из них ничего не исходило, кроме гласности.

Скептикам мы лишь укажем, что народ требует именно колбасы, — не мяса, не содержания! — но формы. Об этом же свидетельствуют успешные опыты с заменой в колбасном фарше мяса целлюлозой, отчего очереди за колбасой — этим политическим залогом любви — только растут. Недолюбленный народ ведет себя, как ребенок, ищущий наказания, — впадающий во вседозволенность в поисках кары, — и, несмотря на все слезы, испытывающий облегчение от символического шлепка материнской и от ремня в отцовской руке, спасающих его, наконец, от самого себя.

Онтологические корни колбасы уходят глубоко в строение человека, в оба его кишечника: головной и расположенный в животе, идеально приспособленные, один — для восприятия идеи колбасы, другой — для поглощения ее тела. Следует ли уточнять, что само такое поглощение являет собою акт сексуально-политического каннибализма?

Вообще, следует отметить, что эротическая природа колбасы носит характер тотальный и комплексный. Можно выделить такие ее аспекты, как: вуайеристский, мануально-оральный, вплоть до фекального — поедания содержимого кишок (что этимологически, кстати, давно осмыслено народом сближением звучания слов «кал-колбаса»).

Понятно, что богатство и разнообразие переживаний расширяет и углубляет до беспредельности ментальность любого народа, периодически имеющего дело с колбасой, ставят такой народ на пороге 6-го чувства, открытого социализмом, — где народ и социализм, раз встретившись, не разлучатся уже никогда.

Знаменательным кажется тот факт, что еще на заре нашего века — века победоносного шествия идей Великой Октябрьской социалистической революции, — колбаса именно в русском ее произношении, как «кол-ба-са», вошла в международный язык эсперанто.

И уже недалеко то будущее, тот час, — то осуществление светлых галлюцинаций человечества, — когда упорядоченная, избавленная от наименований и пересортицы, КОЛБАСА как таковая будет наматываться на катушки телефонных кабелей и доставляться в г а с т р о н о м ы машинами, сродни пожарным, чтоб подаваться, как шланг, как бьющаяся и пульсирующая пожарная кишка, — на всю очередь разом, вплоть до полного и окончательного ее насыщения.

Выдающийся деятель украинского возрождения, поэт, переводчик, критик, литературовед Николай Константинович Зеров родился в уездном городе Зенькове Полтавской губернии 14 (26) апреля 1890 года в семье учителя. Учился в городской школе, Ахтырской гимназии, с 1903 г. — в Киеве, в Первой Александрьевской классической гимназии. После окончания историко-филологического факультета Киевского университета преподавал в гимназиях, архитектурном институте, социально-экономической школе с 1923 г. — профессор Киевского института народного образования (так назывался тогда Киевский университет).

Н. Зеров переводил русских, белорусских, польских, итальянских, французских, бельгийских, английских поэ-

тов. В 1920 г. в его переводах издана «Антология римской поэзии», куда вошли произведения Катулла, Вергилия, Горация, Проперция, Овидия, Марциала. Отдельным изданием вышел сборник его стихов и переводов «Камена» (1924), — литературоведческие и критические работы: «Новая украинская литература» (1924), «Леся Украинка» (1924), «К истокам» (1926).

Осенью 1934 г. Н. Зерова отстранили от преподавательской и научной работы, в конце апреля 1935 г. арестовали.

Где, когда, при каких обстоятельствах погиб Н. Зеров установить пока не удалось...

На запрос отца Н. Зёрова пришел ответ, что сын его умер в 1937 г. Уже после окончания войны, на запрос жены пришел ответ с датой смерти: 13 октября 1941 г.

## НИКОЛАЙ ЗЕРОВ

### Скорпион

Блаженны дни и ночи на селе,  
Обильные земли Волынской лона,  
И дух полей, и голоса с балкона,  
И кваканье лягушек в полумгле.

А в синем плёсе, словно на стекле,  
Уж проступает контур Скорпиона,  
И Антарес над краем небосклона  
Сверкает красной искоркой в золе.

Я уезжал и глазом астролога  
Пытал у звезд — какая же дорога  
В грядущие меня проводит дни...

А Скорпий гас в красе своей гнетущей,  
И возносил Стрелец над темной пущей  
Свой лук, свои приветные огни.

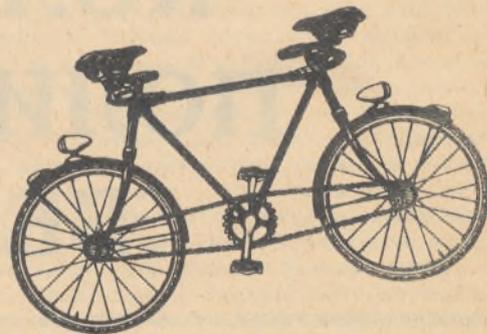
### Земляника

Гудят вершины сосен; перелог,  
Лазурь небес и ясный свет лугов  
Темнит гряда пушистых облаков;  
В высоких травах путаются ноги.

Упасть бы и забыться у дороги,  
На миг бы отдохнуть от этих псов,  
От гавкающих, злобных голосов,  
От низких душ, коварства и тревоги.

А там — вслед за волнами сна идти,  
Напасть на рифму звучную, найти  
Тот ритм, что сохранил мой дух усталый, —

И, силу соков ощутив земных,  
Глаза открыть и повстречать кораллы  
Таких веселых ягод наливных.



### Лотофаги

От Трои, от кровавого тумана,  
От ненасытных черных дней войны  
Царь Одиссей привел свои челны  
К безмолвным плёсам сонного лимана.

Измотанных ветрами урагана,  
Нас лотофаги, жители страны,  
Встречали, незлоблively и нежны,  
И пища их была благоуханна.

И ели мы, и забывали дом,  
И родину забыть в краю чужом  
Готовы были ради сладкой жизни.

Но мудрый царь не дал остаться нам  
И силою нас возвратил отчизне  
В науку новым людям и векам.

## Александрия

Когда мне говорят Александрия . . .

М. Кузмин

Темнеет море, гаснет день багровый,  
Пассатный ветер паруса нам рвет,  
И наш корабль бежит по лону вод,  
Чтобы до ночи закрепить швартовы.

Вот он, огромный этот град портовый  
Из сумерек вечерних восстает.  
О сердце мира, новый муз оплот,  
Ты — Пиэрия, Геликон наш новый!

Мы видели пленительных сирен,  
Простор сарматский, мраморы Атен,  
И Сапфо черную скалу в Левкаде;

Но нас ничто не волновало так,  
Как Фарос твой, твой белый Гептастайд  
И тенью черною вознесшийся маяк.

## В альбом

Все больший груз забот ложится мне на плечи,  
Стих беззаботный смех, степенней стали речи,  
И голос слышу я, настойчив он и строг:  
«Наймит лукавый, где трудов твоих итог,  
Твоих усилий плод? Каков был день вчерашний?  
Трудился ль хорошо ты над своею пашней?  
Успеешь с жатвой ты? Уложишься ли в срок? . . .  
Как больно слушать мне тех едких слов упрек!  
Как не завидовать мне молодости вашей, —  
Наполненной вином и ненадпитой чаше,  
Всей этой свежести предутренних годин,  
Заре алеющей над тихим сном долин!

## Lucrosa

Под кровом сельских муз, в болотистой Лукрозе \*,  
Где разум, чувства, мысль — всё спит в анабиозе,  
Живем, покинувши не Киев — Баальбек,  
Вдали от диспутов, друзей, библиотек  
Высеиваем хлеб на каменное лоно.  
Часами служим мы владыке Аполлону,  
Бросаем ладан свой в убогий дым костра.  
Так в древней Ольвии пришельцы-мастера  
Средь будничных забот, средь шкурных дел громады  
В душе лелеяли волшебный сон Эллады  
И для окрестных орд, у скифских берегов  
Ваяли мраморных невиданных богов.

\* Лукроза (от лат. *lucrum* — барыш, прибыль) — так Н. Зеров перевел название села Барышевка Киевской области, где он преподавал в 1920—1923 гг.

## Поминки

У дев евангельских немудрых ненадежный  
Взяла светильник ты и посох свой дорожный.  
В венке живых надежд, стройна и весела,  
Ступила ты на путь злосчастный, и ждала  
Диковин, дивных див, героев идеальных . . .  
А жизнь твоя текла в заботах дней печальных  
Без утр сверкающих и без геройских дел,  
И масло кончилось, и сон твой догорел;  
По каплям разлился души поток богатый,  
На гордый дух легли скитанья и утраты,  
И вот настал твой час, и в праздничный тот час  
Сломался посох твой и светоч твой погас.

## Аристарх

В столице мировой, на торжище идей,  
В музеях, портниках, в тени густых аллей  
Александрийских муз потомки — рой их прыткий, —  
Отребе жалкое — пииты и пиитки, —  
Улавливали шаг литературных мод,  
Сплетали для владык венки искусных од.  
Бранился, ссорился сонм этот неумный.  
И был там уголок, где их галдѣж никчѣмный  
Бессильно умолкал — укромный кабинет,  
Где мудрый Аристарх, филолог и эстет,  
Для будущих веков, назло бесстыжей моде,  
Входил в безбрежный мир Гомеровых рапсодий.

## Бессмертие

Утешься: не увял Овидиев венец.

А. Пушкин

Венец Овидия вовеки не увянет.  
Бессмертный «Плач» его звучать не перестанет.  
Элегий страстный жар, как свет весенних лоз,  
И чары солнечных его «Метаморфоз»,  
Наука мудрая любовного познания . . .  
Пусть Цезарь злится, пусть года его изгнания  
Согнут высокий стан и седину вплетут,  
И пусть кричит сармат, пусть готы смерть несут,  
Пусть гневный Понт ревѣт, горами волны встанут, —  
Народы и века не раз еще помянут  
Его поэзии свободной, легкий лад  
Стенаньем нежных альб и звоном серенад.

# ВИЛЬГЕЛЬМ МИХАЙЛОВСКИЙ ГРУППА «А» ЛАТВИЯ

Сейчас мы многое открываем заново в своей исторической памяти. Из небытия прошлого возвращаются новые для нас имена, целые поколения.

Но в забвении было не только прошлое — мы жили в перевернутом настоящем, сквозь призму двойной морали отражая мир эстетически привлекательным, искусно лживым, мертворожденным.

В этом искусственном мире жили наши иллюзии, мы же сами — существовали, пытаясь выжить как личности.

Фотографу, кроме призвания и таланта, требуются мужество и воля, чтобы отстоять свободу и независимость в творчестве.

В течение нескольких лет в Латвии творчески развивается неформальное объединение фотографов — группа «А». Латвия.

Группа в постоянном движении: кто-то уходит, попадая в зависимость от обстоятельств, кто-то приходит, если он свободен. Ни обязательств, ни обязанностей... СВОБОДА. ВЗАИМНОСТЬ. СОДРУЖЕСТВО. В различных комбинациях в творческих акциях группы «А» участвуют Валтс Клейнс и Андрейс Грантс, Эгон Спурис и Вильгельм Михайловский, Инта Рука и Гвидо Кайонс, Улдис Бриедис и Дафнис Занде...

Сам я испытываю огромную радость от общения и сотрудничества с единомышленниками, своим творчеством утверждающими новые идеалы и надежду на обновление ФОТОГРАФИИ и ЖИЗНИ.

Они очень разные — мои коллеги, но объединяет нас чистота помыслов, а честолюбие творцов не выходит на уровень конъюнктурных игр.

И хотя быт моих молодых друзей, как правило, не устроен, но жизнь духа естественна и плодотворна — судьбой им все отпущено для творчества — хватило бы только времени.

## ВИЛЬГЕЛЬМ МИХАЙЛОВСКИЙ

Родился 2 октября 1942 года.

Фотограф.

Лауреат Государственной премии Латвии 1989 г.

1986 — 87 гг. — участие в работе над фильмом «Высший суд» (реж. Герц Франк).

Изданы авторские фотоальбомы:

в 1982 году — «Откровение» — изд-во «Авотс», Рига,

в 1988 году — «Избранные фотографии» — изд-во «Планета», Москва.

Персональные выставки состоялись в Таллине, Праге, Брно, Москве, Риге, Коломбо, Чебоксарах.

Творчество Вильгельма Михайловского представлено в фотографических изданиях Латвии, СССР, США, Швейцарии, Англии, Чехословакии, Финляндии.

## Дафнис ЗАНДЕ

Родился 9 мая 1960 года.

Первые уроки фотографии получил в 12 лет от отца.

Среднюю школу не закончил: ушел из 10-го класса английской школы.

С 1983 года — фотограф в Музее истории Латвийской ССР.

Если бы мне пришлось назвать самого преданного своему делу фотографа из «молодых» — им был бы Дафнис Занде. Весь уклад его не длинной еще жизни подчинен фотографии. Собственно, вся его жизнь — ФОТОГРАФИЯ. Она ворвалась в сложное драматическое семейными коллизиями детство, пожалуй, единственным светлым пятном.

Первые снимки были сделаны в 12 лет фотоаппаратом «Смена», подаренным отцом. Исклчительная требовательность первых уроков, преподанных отцом, навсегда определила стиль и метод, декларируемые в фотографиях Дафниса.

Простая, убогая внешними проявлениями жизнь людей Пардаугавы, безрадостность детства — обострили чувство восприятия мира, сформировали нравственно-этическую систему, в которой доминанта — сочувствие и сопереживание другим.

Ложь и лицемерие общества, накладываясь на юношеский максимализм, вызывают внутренний протест, рождают энергию отрицания банального самодовольства

и необоснованного оптимизма социальной системы. Дафнис буквально растворяется в среде людей, опустившихся на дно системы — нищих, но свободных. Он чувствует боль и страдания окружающих и верит в их пробуждение. «Мне очень страшно фотографировать эти вещи», — в порыве откровения признается фотограф.

В конце 70-х годов среди этих людей юноша находит друга лет на 20 старше, ставшего для него духовным и профессиональным наставником — фотографа Валдиса Либертса (умер в 1980 году).

Работа в Музее истории Латвии научила видеть в фотографии не только художественный образ, но и исторический документ.

Обнаженная картина реальной жизни приводит к срывам — глубоким депрессиям, из которых единственный выход через совершенствование духовного начала в себе. «Философия йоги — лучшее, что есть у меня».

Суровая реальность и иллюзорность идеологических миражей совмещаются в сознании Дафниса Занде в правдивую честную гражданскую позицию фотографа-гуманиста.

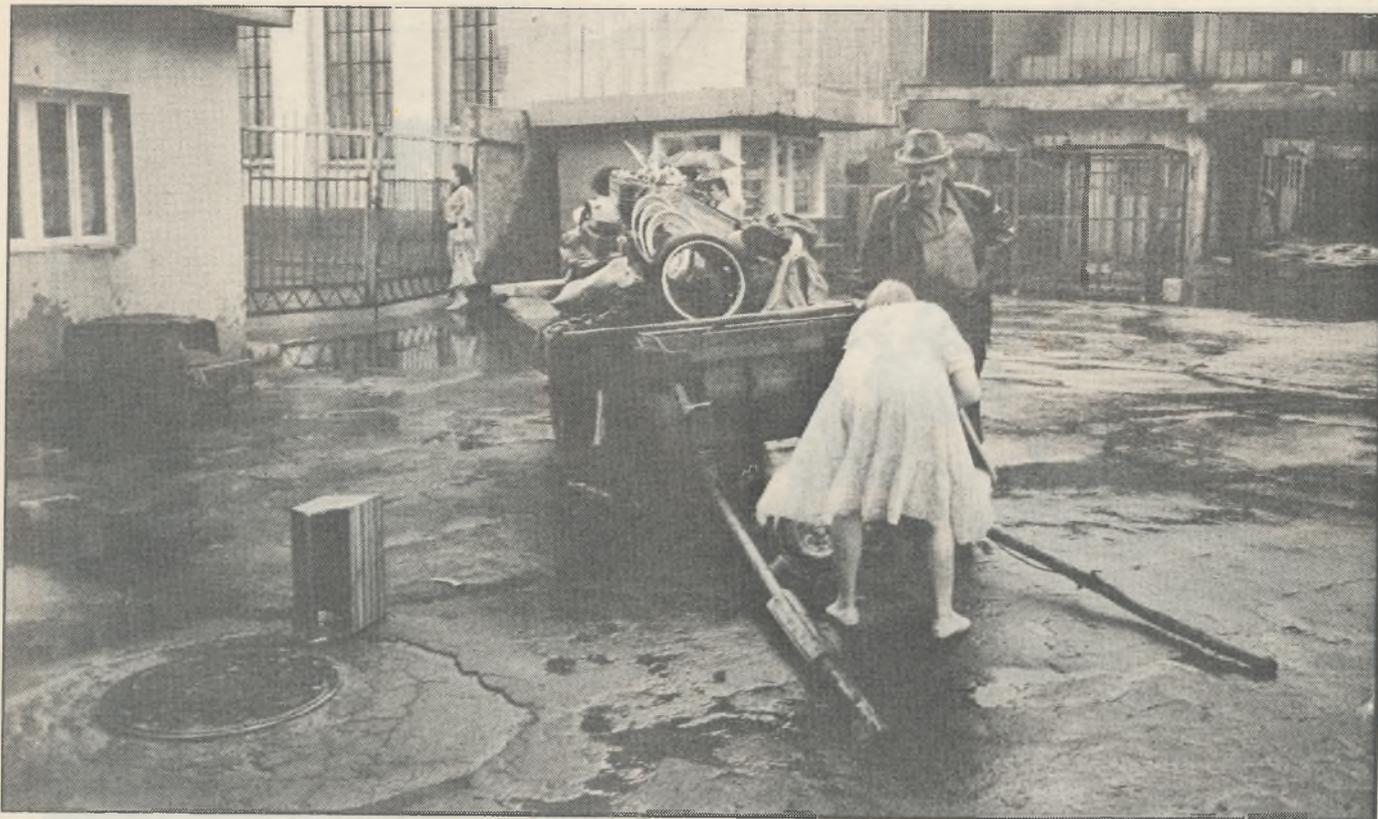


ВИЛЬГЕЛЬМ МИХАЙЛОВСКИЙ



ФОТО ГЕРЦА ФРАНКА

Портрет ВИЛЬГЕЛЬМА МИХАЙЛОВСКОГО



ДАФНИС ЗАНДЕ. Рига.  
Барахолка. 1988 г.



ДАФНИС ЗАНДЕ  
Рига. Барахолка. 1988 г.

#### Валтс КЛЕЙНС

Родился 31 октября 1960 года.

1978 год — закончил театральный класс средней рижской школы № 64.

В 1978—1979 годах — участник Народной студии Рижской пантомимы.

В 1984 году закончил Ленинградский институт культуры, факультет культпросветработы.

В 1984—1987 годы — методист по организации фотоклубов при Министерстве культуры Латвии.

С 1987 года — свободный фотограф.

Фотографии и статьи о фотографии публикуются в периодических изданиях Латвии.

С 1989 года — публикации в ФРГ.

В 1989 году присуждена творческая стипендия Латвийского фонда культуры.

Все, что мне известно из работ Валта Клейна, а творчество его весьма обширно, мне очень интересно и близко. Многие работы и уровень авторского мышления, проявляющегося в них, настолько своеобразны в своей мнимой простоте, что механизм передачи образной информации реальности практически отсутствует — идет прямая трансляция жизни. Это очень важное и, я бы сказал, редкостное качество в фотографии и его невозможно приобрести познанием или опытом: оно или есть, или его нет вовсе. Все зависит от Бога — природы. Но Валт — счастливчик. Он получил не только от бога: отношения с матерью формировали в нем терпимость, сдержанность; общение с отцом — проявляли в его характере качества противоположные — крайность суждений, резкость, динамизм. Совмещение этих противоречивых начал в творчестве дает основу для создания авторской программы «экстремального эгоизма».

Юношеская увлеченность театром пантомимы и собственный опыт на сцене обо-



РИГА МЕДИАРКК 1985.



3/4

1985

ВАЛТ КЛЕЙНС



КРИМА АПУТАС ДАБЭ 1989



1/4

1985

ВАЛТ КЛЕЙНС

стрили чувство восприятия и привнесли в графическую и тональную структуру изображения пластику жестов и образность символов.

Хотя академическое образование очень многое дало для формирования Валта как фотографа, основой для постижения тайн фотографии явилось все же самообразование. Путь к себе вел не через отрицание других авторов, что свойственно эгоцентризму, наоборот, искреннее увлечение в

различные периоды саморазвития работами Апкалиса, Спуриса, Михайловского, других фотографов Латвии и особенно творчеством представителей американской реалистической фотографии, поднимало планку требований к себе и к окружению. Отсюда конфликты с функционерами от фотографии, полный разрыв отношений с традиционными организационными структурами фотографической жизни Латвии.

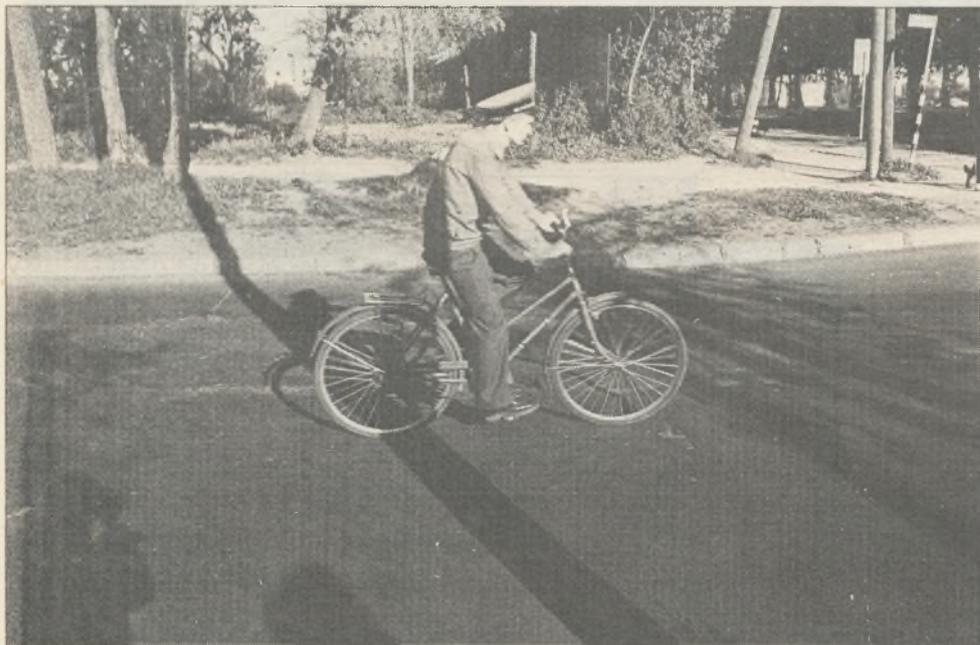
Роль лидера в неформальном содружестве молодых независимых фотографов Латвии способствовала повышению творческой активности ряда авторов, становлению новых имен.

Но повода для оптимизма нет. Разочарование.

Тенденции в развитии фотографии Валта Клейна еще опасны для догматического мышления. Смотреть правдиво — преступно!



МАРТЫНЬШ ЗЕЛМЕНИС. Огре, I, 1988 г.



МАРТЫНЬШ ЗЕЛМЕНИС. Огре, II, 1988 г.

Родился 11 августа 1956 года. В 1982 году закончил Латвийский государственный университет, факультет латышского языка и литературы. В 1982—1983 годах работал фотографом при реставрации дворца Ногале под Талси (Латвия), фотографом в ботаническом саду Академии наук в г. Саласпилсе. С 1986 года работает в редакции еженедельника «Литература ун Максла» (Литература и искусство). В 1987 году в издательстве «Лиесма» издан авторский сборник прозы «Рассказы сорого брата». Фотографии публикуются в периодических изданиях Латвии.

Для Мартыньша не имеет особого значения, каким образом будет использована созданная им фотография. Будет ли в ней смысл для кого-нибудь вообще. Эту позицию многие могли бы расценить проявлением или кокетства, или пижонства, кто как, если бы не подтверждение фактом действительно очень редких, скорее случайных, публикаций его работ (о выставках и говорить не приходится).

Подобная позиция — средство защиты от безразличия, от конъюнктурности внутреннего обиходного фоторынка, где в ходу в основном девальвированные купюры фотографий. Общий фотографический поток в искусстве Латвии Мартыньш не воспринимает (за исключением некоторых работ отдельных авторов), не видя в его мутности смысла: «Жалко потраченного серебра». Но сам он это творчество пока не намерен бросать: «Еще не все в фотографии успел обобщить».

Странный человек, этот Мартыньш Зелменис. Собственно и свое фотографическое творчество он основал на идее отрицания фотографии своего приятеля, бывшего одноклассника Гвидо Кайонса (личности известной в фотографическом мире): «Не нравилось, что и как он снимает». Произошло это в 1980 году во время учебы на факультете латышского языка и литературы в ЛГУ.

Фотография для Мартыньша Зелмениса (литературного критика и прозаика) всего лишь приятное времяпрепровождение — «естественный свободный процесс». Не больше. Но и не меньше!

А если говорить честно, то свои фотографии Мартыньш ставит на уровень фотографий Анри Картье-Брессона, видя разницу лишь в том, что сам больше думает перед решающим моментом, чем его более знаменитый коллега, приближая картины мира к уровню созерцания. Чтобы это не было бахвальством и самомнением милого Мартыня, я могу сказать, что в моем восприятии фотографии Анри Картье-Брессона и Мартыньша Зелмениса объединяет чистота помыслов.

Внешняя неброскость, строгость и сдержанность его работ таят в себе потенциальную энергию откровения. Все зависит от зрителя.

Будь моя воля, я бы уже давно издал альбом этих прекрасных фотографий.

Кто он, Мартыньш Зелменис — писатель, журналист, фотограф? Вряд ли на этот вопрос он сам ответит однозначно.

Думающий человек — и это бесспорно.

## Инта РУКА

Родилась 3 июня 1958 года.  
Фотографировать начала в 1978 году.  
Закончила профтехучилище. Работала в «Ригас модес» швеей.  
С 1979 по 1982 год — участник Народной фотостудии Дворца культуры ВЭФ.  
В 1989 году персональные выставки в г. Москве и г. Турку.  
С 1989 года — публикации в ФРГ и Швейцарии.

Инта — дитя города. Но самые яркие впечатления детства, пронзившие последующую жизнь, — ностальгия по деревне. Три детских деревенских лета на хуторе где-то под городком Балвы сформировали нравственную систему восприятия мира, в которой все вторично, но главное — мама и незнакомые люди в одиноком, бедном прямыми родственными связями детстве, которые затем становятся близкими — родными. Понятие «чужой человек» попросту не существует. Все люди — братья. Чувство общности, родства и доверия людей — самое ценное, истинное.

Искусство Инты — категория нравственная. На фоне социальных противоречий общества, непримиримости и нетерпимости его составляющих чистая фотографическая поэзия Инты Руки проявляется глубоким душевным потрясением очищения. И удивлением — как близко это далекое, почти реликтовое чувство чистоты и ясности человеческих отношений.

В коллекции «Мои деревенские люди», созданной Интой в 1984—1987 годах, 100 фотографий. Эта работа в моих глазах поставила Инту Руку рядом с великими фотографами-гуманистами Дианой Арбус и Имоген Каннингем.

Впереди новая работа над коллекцией «Город», начатая в 1988 году, и новая жизнь.

Да, жизнь несет обновление — 29 мая 1989 года родился Кристап — маленький Спурис. Кристап — сын фотографов Инты Руки и Эгона Спуриса.

## Гвидо КАЙОНС

Родился 2 декабря 1955 года.  
Фотографирует с 13 лет.  
С 1976 года участник Народной фотостудии Дворца культуры завода ВЭФ.  
В 1979 году закончил Рижский политехнический институт, факультет радиотехники и связи.  
С 1979 по 1989 гг. работал в лаборатории РПИ старшим инженером, в практической работе — фотографом.  
С 1990 года — фотограф молодежного журнала «Лиезма».

Персональные выставки: 1979 год — г. Цесис, 1981 год — г. Салацгрива, 1988 год — Рига, Даугавпилс

Изобразить мир исторически достоверно и при этом наполнить его образом мышления современного человека — одновременно и сверхзадача, и проблема латышской фотографической школы. А почему, собственно, проблема! В том ли, что



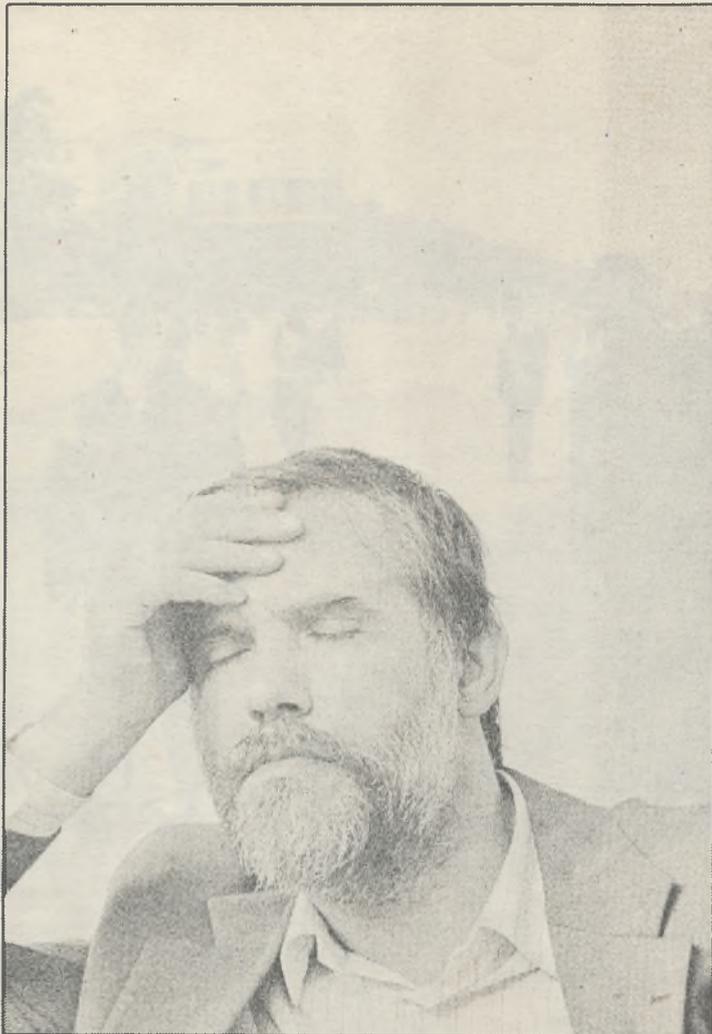
ИНТА РУКА. Из коллекции «Мои деревенские люди», 1987 г.



ИНТА РУКА. Из коллекции «Мои деревенские люди» — Марта Бите, 1987 г.



ГВИДО КАЙОНС



ЯНИС БУЛС. Портрет А. Сукутса



ЯНИС БУЛС

долгие годы акцент был в направлении эстетической фотографии! В отсутствии традиций фотографии реалистической! Вряд ли только в этом.

Способность выразить современность в любом творческом проявлении — редкий дар, а в фотографии особенно. Низкий престиж фотографии в обществе отталкивает яркие, одаренные личности, уводит их в другие области самовыражения.

Коллекция фотографий Гвидо Кайонса вызывает шок у зрителя, плывущего по течению салонной фотографии. Где утонченная манерность! Где сладость раз и навсегда разработанных стереотипов! Одна лишь реальность, которой каждый из нас сыт по горло.

Реальность парадоксов и парадоксы реальности. Фотография Гвидо не обличает фантастический идиотизм реальности (тогда бы это было конъюнктурно пошло и банально), она его всего лишь отражает. Через социальную среду, через время. Отражает систему... При этом обязательное условие — личностное авторское начало должно быть снивелировано. Этот метод основан на своего рода акте самосожжения. Разрабатывая исключительно авторскую программу — уничтожить авторское начало в ней. В этом еще один парадокс Гвидо Кайонса.

При восприятии реальности личный опыт осмысления ее приглашает остроту образов. Но Гвидо как будто бы и не прожил свои 34 года в визуальном абсурде социальной среды, фотографические образы свежи и непосредственны своей новизной.

Фотография Гвидо Кайонса пришла вовремя. Представить ее десятью годами ранее просто невозможно, но если и через 10 лет человек будет продолжать свое существование в подобной реальности бездумия, стоит ли тогда жить вообще! Этот вопрос, который Гвидо Кайонс провоцирует своей фотографией, аккумулирует духовную энергию человека на преобразование. В этом ее ценность для общественного самопознания.

#### Янис БУЛС

Родился 11 декабря 1959 года.

Фотографировать начал в школе. Совершенствовался в молодежной студии «Ирис».

В 1983 году закончил Рижский политехнический институт, факультет радиотехники и связи.

С 1986 года — фотограф на Рижской киностудии.

С 1986 года фотографии публикуются в периодических изданиях Латвии.

Рассказ о Янисе Булсе начну с личных воспоминаний. Когда в ноябре 1969 года в поисках фотографического пристанища я появился на пороге Молодежной фотостудии «Ирис» с первыми своими фотографиями, то был вежливо спроважен художественным руководителем Юрисом Кривиньшем (как я тогда понял — из-за

бесперспективности — и возраст не тот, да и глаз не так поставлен).

Лет через десять Янису повезло больше, и фотостудия «Ирис» стала для него поистине «алма матер» в фотографии, а Юрис Кривиньш — заботливым «крестным отцом».

Многое в жизни зависит от случайности, не удивлюсь, если кто-то будет утверждать, что сама жизнь оказалась случайной.

Но Янис не полагается на случай, даже самый лучший. Все в его жизни подчинено страстному желанию фотографировать. И если делать выбор в пользу фотографии, то решительный и честный — мужественный. После стольких лет труда (пяти лет учебы на факультете радиотехники и связи в РПИ, трех лет работы на заводе ВЭФ инженером-конструктором) уйти фотографом на Рижскую киностудию — это уже не случай, не каприз судьбы, не поиск теплого местечка — необходимость. Для Яниса — необходимость.

Потому что, как и в фотографии, так и в жизни, для него все должно быть до предела простым, чистым, ясным. Никаких уступок, никакой двойственности существования — жизнь как единый процесс работы и творчества.

Он скромен, Янис, тих и спокоен и не только во внешнем проявлении — своей фотографией он ничего и не пытается декларировать. Единственная цель, которую он поставил перед собой — документировать все, что происходит в Латвии. В течение последних лет Янис снимает общественно-политические и народные со-



АНДРЕЙС ГРАНТС. Из цикла «По Латвии», Булдури, 1987 г.

бытия Латвии: съезды и форумы, митинги и шествия, акции и фестивали . . .

Из тысяч фотографий проступает лицо народа Латвии. Средства и способы художественного выражения, которые он применяет, полностью соответствуют и согласуются с духом народного движения. Честь и достоинство, свобода и независимость.

Янис Булс — фотограф народного пробуждения.

#### Андрейс ГРАНТС

Родился 7 марта 1955 года.

В 1978 году окончил Латвийский государственный университет им. П. Стучки.

С 1978 года — член Народной фотостудии «Огре». Художественный руководитель — Эгон Спурис.

С 1979 года — преподаватель фотографии в Доме технического творчества школьников.

Персональные выставки: 1981 год — г. Таллинн, 1982 год — г. Миасс, 1983 год — города Рига, Огре, Каунас, 1988 год — города Таллинн, Хельсинки, 1989 год — г. Турку.

Фотографии с 1980 года публикуются в периодических изданиях Латвии.

Андрейс Грантс удивительно цельный фотограф. Его творчество вообрало в себя 10 лет свободного изнурительного труда на уровне самопожертвования.

Уже первые фотографии Андреяса поразили меня своей тонкостью и прозрачностью и одновременно — профессиональной завершенностью и основательностью.

У него не было поры ученичества, уже первыми своими работами фотограф за-

ложил основу программным коллекциям, находящимся в саморазвитии до нынешнего времени.

Эпиграфом ко всему творчеству Андреяса Грантса служат слова великого Антониони: «Люблю смотреть из одного и того же окна и видеть совсем разные картины». С присущей ему скромностью Андрейс развивает тезис: «Увидеть постоянное в этих разных и изменяющихся окружающих нас картинах — это то, что я своими photographиями хотел бы добавить к сказанному Антониони».

Освоение и реализация авторской программы (цикл «Впечатления») — «Созерцание мимолетных мгновений», цикл «По Латвии» — «Метафизика обыденных ситуаций и настроений») привели к существенному личностному преобразованию самого себя и философии мировосприятия — открылись новые горизонты в осмыслении Мира.

Со временем Фотограф постигает тайну новых отношений с Человеком. Эти отношения основаны на впечатлениях от непосредственного общения с людьми: увлеченная работа с подростками в Доме технического творчества г. Риги, сотрудничество с фотографом Эгоном Спурисом в работе Народной фотостудии г. Огре, сотрудничество с деятелями культуры Латвии.



АНДРЕЙС ГРАНТС. Из цикла «Впечатления», У моря, 1987 г.

В фотографиях Андрейса Грантса происходит странное соотношение фрагментов реальности в комбинациях, создающих новую образную структуру мира. Порой эти работы возносят нас на уровень ирреального восприятия. Да, в реальном мире происходят ситуации, которые по своей необыкновенности могут быть выведены в разряд надреальных, суперреальных. Авторское отношение к реальности, умение увидеть и выкристаллизовать в ней вот этот необыкновенный в море обыденности миг — это в высшей степени авторское начало. Еще какое!

#### Эгон СПУРИС

Родился 5 октября 1931 года. В 1962 году закончил Рижский политехнический институт. С 1960 по 1976 г работал конструктором, дизайнером в различных проектных институтах и бюро. С 1976 по 1978 год — фотохудожник проектного конструкторского бюро. С 1978 года — художественный руководитель Народной фотостудии «Огре». Свободный фотограф. Лауреат международных фотографических конкурсов и выставок. Персональные выставки: в Таллинне, Риге, Вильнюсе, Праге, Хельсинки, Брно. Умер 20 мая 1990 г.

Эгон — близкий мне человек. Сколько я помню себя фотографом — одним из самых больших авторитетов для меня всегда был Спурис, и не только в фотографии — в жизни.

Мир, созданный его фотографией, вошел в мою жизнь естественно, как данность, как готовый ответ на многие вопросы. Если бы пришлось самому искать на них ответы, понадобилось бы еще несколько лет собственной жизни.

Примером своего творчества Эгон дал импульс для развития многим, я не побоюсь сказать, импульс новому поколению фотографов. Резонатором для своего развития многие авторы считают Эгона Спуриса — фотографа и человека.

Самое ценное, что создал мастер за эти годы, — это постоянно меняющаяся и обновляющаяся коллекция «В пролетарских районах Риги конца XIX и начала XX веков». И хотя эта работа включает в себя тысячи негативов, сотни фотографий, эмоционально-художественным ядром этого собрания фотографий являются 75—100 авторских произведений.

Ярко выраженная пространственность этих работ привносит эффект присутствия, а плотность и концентрированность изобразительной структуры создают на поверхности упругий слой — ауру, несущую в себе уже не материальную — духовную основу.

Когда смотришь эти вещи, то поражаешься тонкости и прозрачности тональной шкалы, легкости и совершенству формы. Создается впечатление, что исполнены они на одном дыхании, хотя за этой раскованностью огромный физический и духовный труд.

Но ведь мы знаем: жизнь истинного художника — всегда как одно дыхание.



ЭГОН СПУРИС. Сосед по комнате.

P.S. Время... Время всем нам судья...

Весь материал я представил редакции где-то в начале года.

Но сейчас, в августе 1990 г., перед сдачей его в номер необходимо сказать о том, что произошло за это время. Сейчас, в августе 1990 г., уже нет Эгона Спуриса, выдающегося латышского фотографа — для него наступила новая жизнь в фотографии. Мы скорбим... Но и гордимся тем, что успел сделать Эгон Спурис.

Сейчас, в августе 1990 г., еще нет фотоальбома «ТРЕТЬЯ ВОЛНА», в котором Вильгельм Михайловский представляет творчество тридцати трех молодых фотографов Прибалтики. Московское издательство «Планета» в мае передало альбом в полиграфическое производство.

Сейчас, в августе 1990 г., в Швейцарии в выставочном комплексе «Болье» г. Лозанны экспонируется грандиозная выставка фотографии «Восточная Европа». Идея организатора — Musée de L'ÉLYSSÉ — интеллектуальное объединение фотографов Западной и Восточной Европы после крушения и обвала в бездну времени Берлинской стены. 100 фотографов стран Восточной Европы показывают, что они видели, чувствовали и сохранили из пережитого времени.

Латышская экспозиция (около 300 фотографий) самая внушительная на выставке, представлена творчеством 13 авторов: Улдис Браунс, Янис Булс, Улдис Бриедис, Андрейс Грантс, Гвидо Кайонс, Валтс Клейнс, Айварс Лиепиньш, Вильгельм Михайловский, Вилис Ридзениекс, Модрис Рубенис, Инта Рука, Эгонс Спурис, Мартыньш Зелменис.

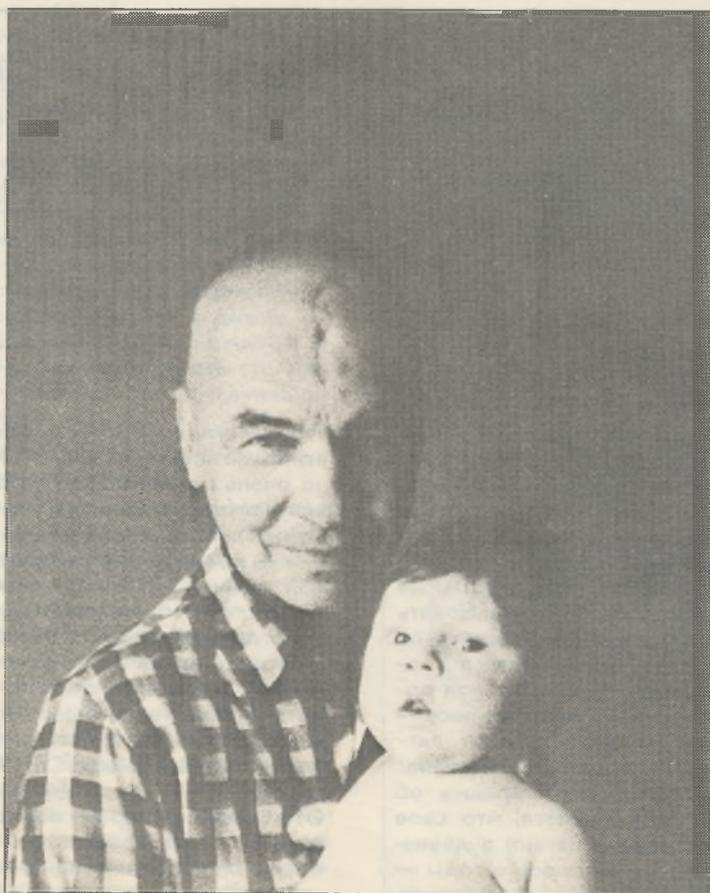
Я показываю концепцию моего фотоальбома «Жизнь как реальность» (проект издания). 106 моих работ на выставке сопровождаются следующим текстом: «Эту идею я начал разрабатывать в 1972 году. Первая часть включает в себя фотографии времени Брежнева (экспонируются на выставке), вторая часть, над которой работаю и сейчас, будет охватывать перестройку Горбачева (сколько мы успеем — Горбачев и я).

Общественная система, в которой ложь и лицемерие, насилие и жестокость в десятилетиях нескольких поколений являлись главной «ведущей и направляющей» силой, способна уничтожить физически. Это так просто! Примеров не счесть.

Но тоталитаризм бессил перед рефлексией духа. Чтобы выжить, выжить духовно и не превратиться в животное, необходимо постоянно смотреть на себя со стороны. Зрелище не из приятных. Но это единственный способ выжить.

Время... Время всем нам судья.

г. Лозанна, 8 июня 1990 года.



ВИЛЬГЕЛЬМ МИХАЙЛОВСКИЙ. Портрет Эгона Спуриса



## ИНТЕРВЬЮ В КАЛИФОРНИИ С ГВИДО АУГУСТОМ

— Может быть, Гвидо, ты вкратце расскажешь прежде всего о своем пребывании здесь, как это все произошло; во-вторых, о своем искусстве — истоки искусства, они здесь, в США, или в Латвии! Как это было!

Гвидо Аугустс: Фактически наш путь в эмиграцию начался осенью 1944 года, в Курземе. Рига уже пала. Обстановка была очень тяжелой — немецкие оккупационные власти всех людей, которых нельзя было использовать на месте и для которых не нашлось работы, заставляли отправляться в Германию. Или же — надо пытаться пробраться на рыбацких лодках в Швецию. В тот раз мои родители поехали в Германию. Я очень ясно помню, — мне было двенадцать лет — как мы отъезжали от латвийских берегов, и они исчезали в тумане. Это и сейчас эмоциональное переживание, и сегодня я стараюсь об этом не говорить и не думать. Мне кажется, что свое детство я, в некотором роде, оставил в Латвии в двенадцатилетнем возрасте, потому что последующие годы — это изгнание, судьба беженца, — прошли в таких условиях,

что наступило быстрое повзросление. Были очень приятные мгновения, много интересного. Весьма странным, но очень ценным было то общество, много высокоинтеллектуальных людей. Например, учитель латышского языка и учительница математики в школе для беженцев в эмиграции — преподаватели университета. В смысле учебы первый период за границей был очень легким, но были утрачены связи со всеми друзьями, всеми родными.

Когда мы попали в Америку, жизнь сложилась иначе. В первое время латыши усиленно разыскивали друг друга, мы держались вместе. Молодежь в возрасте 18—19 лет... Мне тогда было 13 лет. Сразу стали создаваться молодежные организации. Помню, когда я приехал, проходил первый съезд СЛМА (Союз латышской молодежи Америки) — учредительный съезд. Я в нём участвовал. Это была моя первая поездка через американский континент. Я тогда летел один. В моей жизни всегда многое определялось тенденциями в культуре, начиная с того момента. Родители хотели, чтобы я изучал что-нибудь прак-

тическое, архитектуру, например, а я эвентуально занялся рисованием рекламы, что здесь, в Америке, называют коммерческим искусством, но оно не имеет ничего общего с торговлей. Это такая разновидность искусства, как дизайн. Так, понемногу обучаясь и путешествуя, часто оставаясь самоучкой, или же прослушав некоторые дополнительные курсы в университете и в высших художественных училищах, сформировался как художник. Труд живописца подвел меня к такой ситуации (это было в середине шестидесятых годов в Америке), когда я был вовлечен в мощное, активное движение. Мне было 30 лет. Тогда я в технике шелкографии делал плакаты для различных фильмов, мероприятий. Потом один благожелатель, которому очень нравилось то, что я делаю, раздобыл и подарил типографское оборудование, наборные ящики, а также одну полуавтоматическую типографскую машину, работавшую, по сути, по старым принципам Гутенберга. Это переключило меня с живописи на графику.

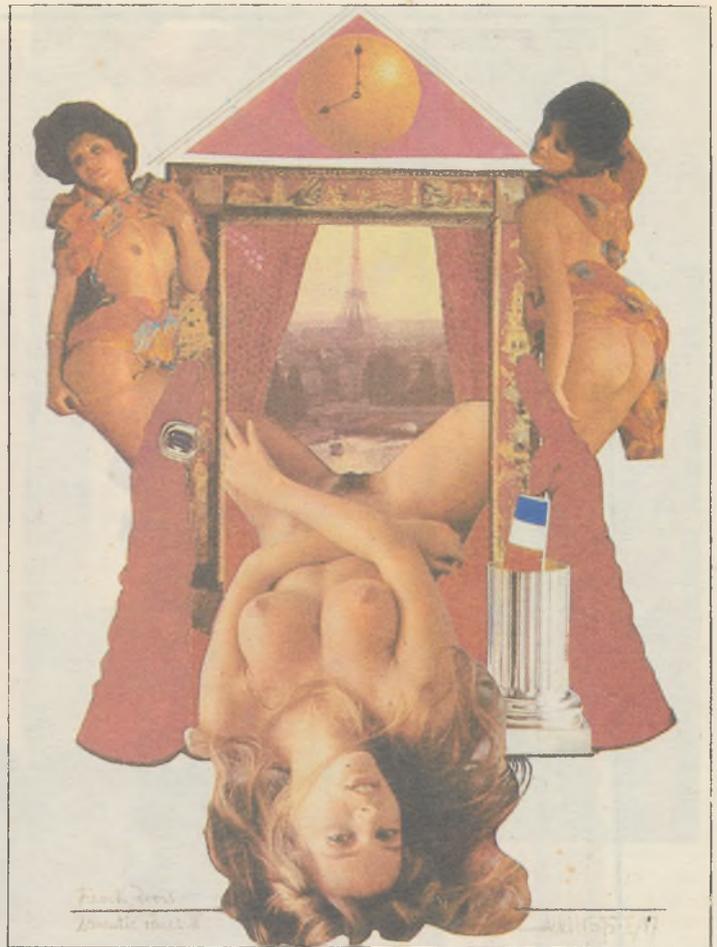
Я увлекся чуть ли не антигугенберговскими экспериментами и попытками как-нибудь отойти от традиционного подхода к созданию книг.

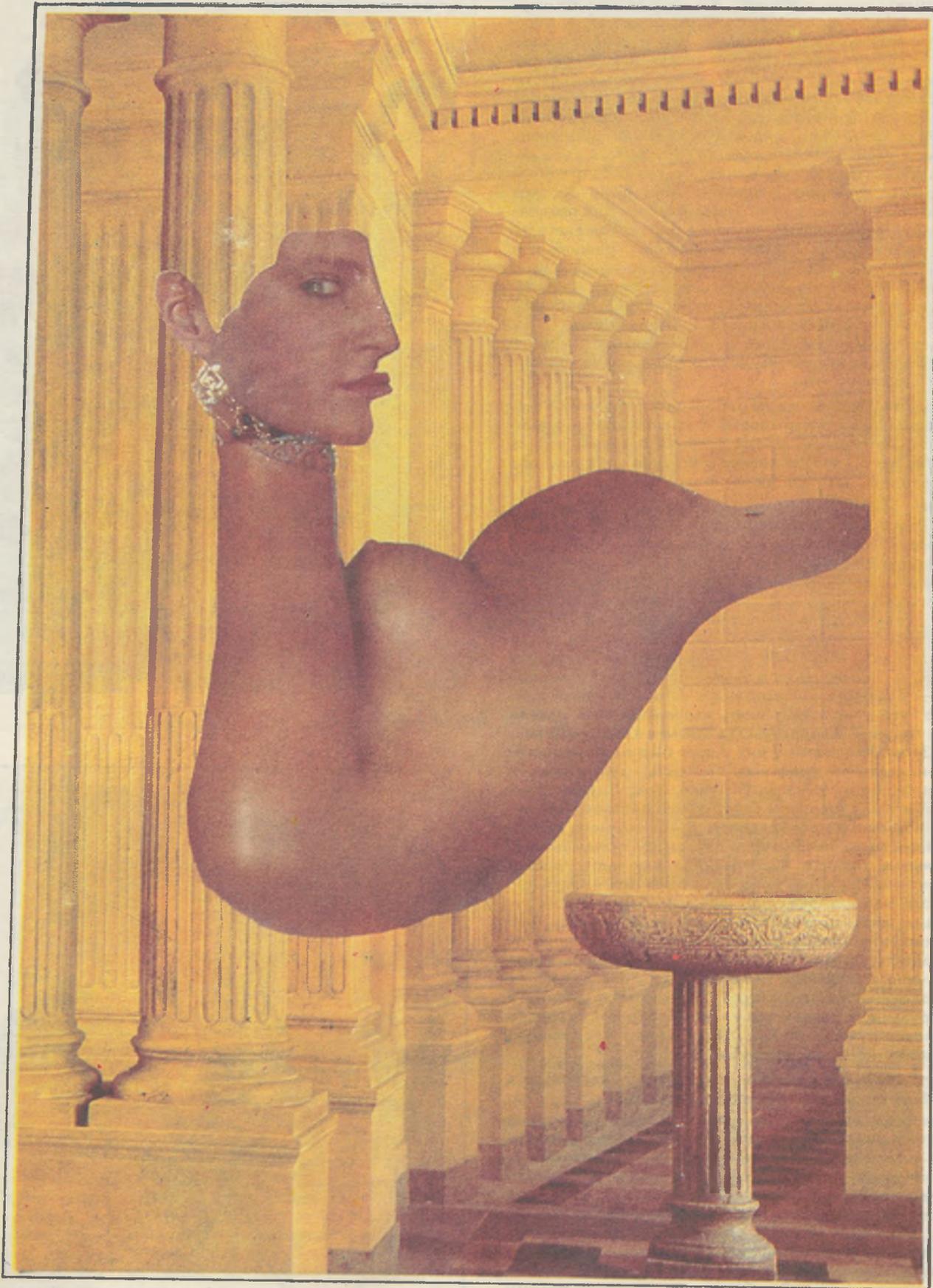
— Ты мне показывал, как ты небольшими тиражами сам иллюстрируешь, сам оформляешь и сам печатаешь книжки. Какие ты делаешь и зачем? Еще ты говорил, что из Риги пришла весть, что ты делаешь это для собственного удовольствия, что это там было неверно понято.

— Что это такое — психоз беженца? — это когда индивидуальность сведена к одному или двум чемоданам — они начинают жизнь заново, материальные ценности кажутся очень важными, и я в своем искусстве всегда был связан с каким-нибудь объектом. В современном искусстве, например, теперь очень много художников работает с идеями. Они чуть ли не играют в театр. По существу, это направление искусства меня не интересует. Меня все еще «держат» вещи, где есть какой-нибудь конкретный объект, какой-нибудь предмет. С книгами же дело обстоит так — я хорошо ознакомился с историей нашей книги, я знаю, что у красивых книг, издававшихся в начале двадцатых годов — в издательстве Вайнага Кане, у «Леты», позже у «Зелта Абеле» — у них у всех был один недостаток — «оригинальная графика». То есть, художники — Сигизмунд Видберг, Никлавс Струнке, Угис Скулме, они обычно работали с клише, и было очень мало оригинальных художественных произведений. Я делал много альбомов на разные темы, например о латышской орнаментике, выполненных в технике линогравюры или кеплогравии и многоцветные. И обычно я стараюсь в каждой книжке поместить хотя бы один-два оригинальных оттиска (если художник еще жив или я делаю свой). Мне кажется, это очень важно, это оживляет книгу. Конечно, это некоторая элитарность, потому что эти книги очень редки, выпускаются очень маленьким тиражом. То, что я делаю, — обычно половина просто раздается, вторую половину я продаю друзьям, в результате у меня набирается столько денег, сколько нужно, чтобы я смог сделать следующую книгу. Дохода, конечно, никакого.

— Ты упомянул антивоенное движение, но, насколько я знаю, ты был вынужден участвовать в войне.

— На войне я не был. В то время, когда я в Америке кончал школу, учился в университете, тогда еще была обязательная воинская повинность. Теперь в Америке обязательная воинская служба давно отменена, в каких-то кругах о ней время от времени еще говорят, но народ настроен против нее. Есть профессиональная армия, и, кто любит драться, живодеды и всякие другие, пусть идут туда. Когда я кончил школу, меня призвали во флот, не хватило добровольцев, и я восемнадцать месяцев пробыл на американском флоте. Это было очень приятно, потому что у меня была командировка на Дальний Восток. Я был в Японии и в Гонконге. С одним парнем мы сняли маленькую комнатку в японском домике, жили на корабле, не в бараке, тогда это еще было возможно. В свободное время довольно много путешествовал по Японии. Это оставило огромное, непреходящее влияние на мою даль-





DORIAN LADY

AUGUSTS, XI/88

нейшую жизнь, хотя в моих произведениях Япония как таковая и не отображается. Больше в философском смысле. Существует идея — когда-то был такой Маклуэн, утверждавший, что мир превращается в единое глобальное поселение. Я думаю, что эта идея для меня была рановата, но все же это прекрасно, когда человек может путешествовать, познавать мир, это не уменьшает его любви к своей родине, а дает лишь больший простор для полета мысли.

— В какой технике ты работаешь и каковы твои цели в искусстве! Работаешь ли ты целенаправленно или в свободном полете!

— Может быть, начнем со второй части. Мне очень повезло. Если бы мне пришлось зарабатывать на жизнь своим искусством, то я бы давно помер с голода, моя семья умерла бы от голода, но, к счастью, у моей жены есть постоянная работа, она учительница, и это хорошо оплачиваемая работа. Все мои непосредственные доходы я пускаю в искусство. За эти годы из меня получился человек, наслаждающийся жизнью. Кажется, что по психологической трактовке все художники либо дети, вечно остающиеся детьми, либо они наслаждаются жизнью и ловят момент. Да, мне это нравится. Были времена, в шестидесятые годы, когда я декларировал, что выступаю против искусства ради искусства. Я считал, что у искусства должна быть какая-то цель, но, в целом, я должен сказать, что меня, по крайней мере, всегда больше интересовала техника, эксперименты, поиски, коммуникации... Но — прямо, дидактично, чтобы мне нужно было что-то провозгласить или сказать — этого у меня нет. У меня есть альбомы, где я набрал, даже можно сказать позаимствовал, — в виде плаката, идеи, и наброски других художников. Это работы, сделанные мною для детей и юношества. Например, серия латышских воинов. Так на 20—25 рисунках — воин латышского народа на гранях разных эпох, начиная с оружейников VIII—IX вв. до конца XX века, красноармейцев латышей в американской армии, во Вьетнаме. Мотив всего — просвещение. Показать нашим детям, что на мировом рынке идет, в мировой истории мы котируемся как единица, что нашу идентичность надо искать только в соприкосновении с другими народами, и что она у нас есть. Поиски этой идентичности проявляются в моих произведениях, а иначе — я любитель радости и наслаждения. Много произведений у меня связано с эротическими темами, есть уже довольно большая коллекция. Много рисую, пишу исходя из разных философских направлений. Что касается техники — я работал в масле, акварелью, теперь пластикой и акриловыми красками, синтетическими красками, немного коллаж, различные оттиски. Я работал с акриловыми пластинами, с поляризованным светом.

— Ты сам упомянул эротическую сторону в своих произведениях. Я тоже это заметил. Как ты сам это объяснишь — это желание, протест или философия?

— Я думаю, несколько компонентов, всего понемногу. Во-первых, художник всегда ищет в своих произведениях что-то шокирующее. Для пуританского мышления секс буржуазен, все равно — идет ли оно от христианской или от марксистской традиции — оба эти направления пуританства отвергают эротику и воюют с ней. Я же считаю, что это одно из наиболее прекрасных и возвышенных чувств человека. Почти половина, даже три четверти того искусства, что поистине ценно и сохранилось со времен эллинской культуры, Древнего Рима до наших дней — всегда было связано с любовью и эротикой. В такой связи это мне всегда нравилось, но в обществе все еще много предрассудков на этот счет.

— Как ты представляешь сотрудничество художников — сотрудничество здешних художников с Латвией, с латышами!

— Все понемногу и непрерывно меняется. До сих пор мы были как бы в роли зрителей, по крайней мере здесь, за рубежом. Было время, пятнадцать, двадцать лет назад, я думал, что многие из здешних художников



практически могли бы вернуться в Латвию — хотя бы на короткое время, на неделю, две, и привнести какие-то новые идеи, привнести какие-то новые применения различных материалов — в то время эти процессы вам не были известны или не были доступны, или из-за какой-то идеологии с ними боролись. Это был плодотворный период. Сейчас, когда вы располагаете такими широкими возможностями «вырваться» на Запад, найти новые контакты, думаю, что первое и самое важное, что мы можем здесь, за рубежом, — способствовать путешествиям ваших художников, ваших работников культуры. Как бы то ни было — очень важно соприкоснуться с внешними впечатлениями. (Приходит на память американский негритянский писатель, который жил в Швейцарии и писал об Америке, — Джеймс Болдуин время от времени видел Америку.)

Много подобных примеров мы можем найти среди наших писателей. Хотя бы Эдвардс Вирза — великий франкофил, человек, который душой и сердцем боготворил французскую культуру. В то же время он глубоко переживал за латышскую культуру, человек, которому был очень близок наш народ и проблемы нашего народа. В изобразительном искусстве — Никлавс Струнке — каждый год, когда только он мог, ездил на известное время в Италию. После второй мировой войны, когда он был вдали от родины, Струнке продолжал ездить в Италию. У него там было много друзей, но в то же время в его работах явственней стал проявляться латышский дух и его любовь к родине... Или хотя бы ваш Эдуардс Калныньш — в «Литература ун Максла» была такая серия очерков (я об этом в своих лекциях часто упоминал): после того, как он побывал в Италии и получил римскую премию, возвращается в Латвию, переезжает у Мейтене границу Латвии и в утреннем свете видит какой-то угол сарая и в тумане — белую лошадку. Я думаю, что он почувствовал, что это самая красивая земля и самое прекрасное место...

— Как тебе самому кажется, ты достаточно информирован о художественной жизни Латвии!

— Я думаю, что полностью информированным быть невозможно. Ведь художники — таинственные люди, они существа загадочные. Ведь многое они не показывают. Вдобавок мы жили врозь. Вы были очень замкнуты. Только два года назад, мне кажется, — плакат к Дням искусства Димитерса, — на полных парусах вышло то искусство, которое сберегали в столах. Я сам в Латвию не приезжал.

— Если бы ты побывал в Латвии, тебе было бы интересно ознакомиться с долей традиций латышского искусства, в наших фондах находятся большие богатства, но из-за нехватки помещений они как бы лежат под спудом.

— Да, я думаю, это было бы великолепно. Например, увидеть несколько художников впервые! Для меня, например, открытием был Борис Берзиньш, когда я видел репродукции его работ или диапозитивы произведений, это было для меня сюрпризом, потому что он художник из художников, который занимается поиском. Я не хотел бы выделять именно его — это всего лишь один такой отдельный пример. Было бы интересно еще таких встретить. Я очень жалею, что не приехал пару лет назад, пока был еще жив Паулюкс, я думаю, Паулюкс был именно тем человеком, с которым надо было бы просто посидеть и поговорить. Есть, конечно, и мрачные типы, замкнутые или ущемленные, с ними общаться сложно.

— Я хотел бы, чтобы ты немного охарактеризовал деятельность латышских художников за рубежом, начиная с послевоенного времени — до сегодняшнего дня. Конечно, это очень обширная тема, и этим занимаются искусствоведы, но каково твое мнение по этому поводу?

— Количество художников тут было разным — смотря по каким меркам считать. Я полагаю, что нас было от 200 до 500. Одна часть того поколения, кто выехал, были старые академики, например Аугустс Аннуса, Либертс, Видбергс, из тех, кто помоложе, — Янелиня, Комлисте, Милтс. . . Затем следовали поколения, которые образование получили или сразу в начале эмиграции, еще в Германии, или уже тут, в Америке. Их творческая деятельность резко отличалась, в тот период, 50—60-е гг., между нами было большое непонимание. Старым художникам пришлось туго — они приехали в Америку, а в Америке в то время был период абстрактного экспрессионизма, многие из них могли подыскать только низкооплачиваемую работу. Почти никаких возможностей выставиться. И даже такие художники, которые раньше выставлялись и получали различные премии, — они никаким образом не могли получить возможность ангажемента в галереях. А потом пришли молодые — их работы отличались. Мне кажется — теперь все идет в обратном направлении. Все возвращается — уважение ко всему, что связано с человеком, природой, больше исканий, во всем известная философичность. Самая большая проблема — как все это сохранить и сберечь, чтобы хотя бы каким-то образом можно было бы доказать, что художники в зарубежье вообще были. Зачастую мы только слышим, что какой-то художник скончался или из его мастерской все выброшено, или растеряно, или же у него были родственники за границей со стороны мужа или жены, у которых не было никакого уважения к ценностям латышской культуры, которые разбазарили оставленные работы, или же художник умирает и у него вообще нет ни одного родственника, и мы ничего не знаем! И часто это происходит в таком месте, где за 500 миль в округе нет ни одного латыша, который мог бы приехать и посмотреть, хорошие ли это работы и следует ли их сохранять. Не знаю, как в будущем эта проблема будет решена. Тут за рубежом не образован центр, где мы могли бы выставить свои работы и сравнить их, где мы могли бы удостовериться, что мы делаем. Если художник хочет к кому-то обратиться через свои работы, то он должен знать к кому. Пикассо, и, например, Диего Ривера — у них была известная склонность к интеллектуальной атмосфере, они разговаривали с близкими себе людьми.

Латышский художник, живя за границей, стоит перед выбором собеседника. Если он хочет обратиться к англичанам или австрийцам, то в его работах найдешь мало латышского. Потому что восприятию американца или австрийца, хотя искусство и универсально, недостает чего-то такого, что сделало бы его специфически латышским. Подобная дефиниция, конечно же, недействительна в Латвии. Я думаю, например, взять хотя бы вашего графика Гунарса Кроллуса — его японские циклы понятны не только латышскому зрителю, но были бы понятны также японцу или американцу. . . Может быть, это вопрос таланта? Может быть, человека с большим, выдающимся талантом в известный момент может что-то потрясти, и в этот момент его талант конкретизируется, и он начинает универсально говорить со всем человечеством. Но в другой момент он беседует очень интимно с отдельными людьми, с отдельной нацией.

— Что тебя обогащает? В чем ты черпаешь вдохновение, идеи?

— Я думаю, что все дело в синтезе: соединяя впечатления от мира с латышскими впечатлениями. Человек может стать большим чудачком и очень своеобразно смотреть на мир, уединившись в каком-либо сельском доме, заколотив свои ставни и не выходя на улицу на протяжении двадцати лет, это один путь. Второй — это когда твоя душа и твой разум, как распахнутые двери, открытые окна, и ты впитываешь абсолютно все впечатления извне. Именно так я и поступаю, а потом пытаюсь впечатления переработать. Моя семья всегда очень радуется, что у меня очень яркие краски. Краски яркие в первую очередь потому, что тут яркое небо, я живу в Калифорнии, это примерно так же, как на юге Франции у Средиземного моря. У меня на стене одна черно-серая акварель Индулиса Зариньша. Она у меня висит не потому, что автор и мотив мне нравятся. А она у меня для того, чтобы напоминать себе, насколько темно серое зимнее небо Латвии, потому что мне трудно представить это, глядя на синее безоблачное небо Калифорнии.

— Собираешься ли ты со своей семьей в ближайшее время почерпнуть впечатлений непосредственно в Латвии?

— Я всегда это откладывал. Были другие замыслы, которые. . . Всегда стоял также финансовый вопрос, но сейчас настал именно тот момент, когда и мы сами, и дети должны поехать в Латвию. Одно время дети были еще слишком малы. Потом — политическая ситуация казалась настолько плачевной, что я просто не хотел ехать. Я не хотел ехать еще и потому, что мои воспоминания о Латвии не были радужными. Мои самые отчетливые воспоминания остались со времен немецкой оккупации, я помню в то время в центре Риги, в районе улицы Калькю, подходили немцы и спрашивали, как пройти к магазину Валтерса и Рапы, к экономическому магазину — там латышский язык не был слышен. И когда мне рассказывали, как у вас обстоят дела в Риге, я думал — зачем мне ехать. У меня одни плохие воспоминания уже имеются. . . Вторая причина в том, что профессия моей жены — преподавание французского и испанского, и отпуск мы обычно проводим во франко- или испаноязычных странах — просто потому, что она может пополнить свои знания языка и культуры. Третья причина заключается в том, что я в последние 10—15 лет не чувствовал, что я мог бы привнести. Я приехал без «гостинца». Я не хочу ехать в Латвию с пустыми руками, не хотел бы только брать. Я всегда критически оцениваю то, что делаю, — чем я располагаю, что я могу дать, или каким образом я мог бы вас обогатить.

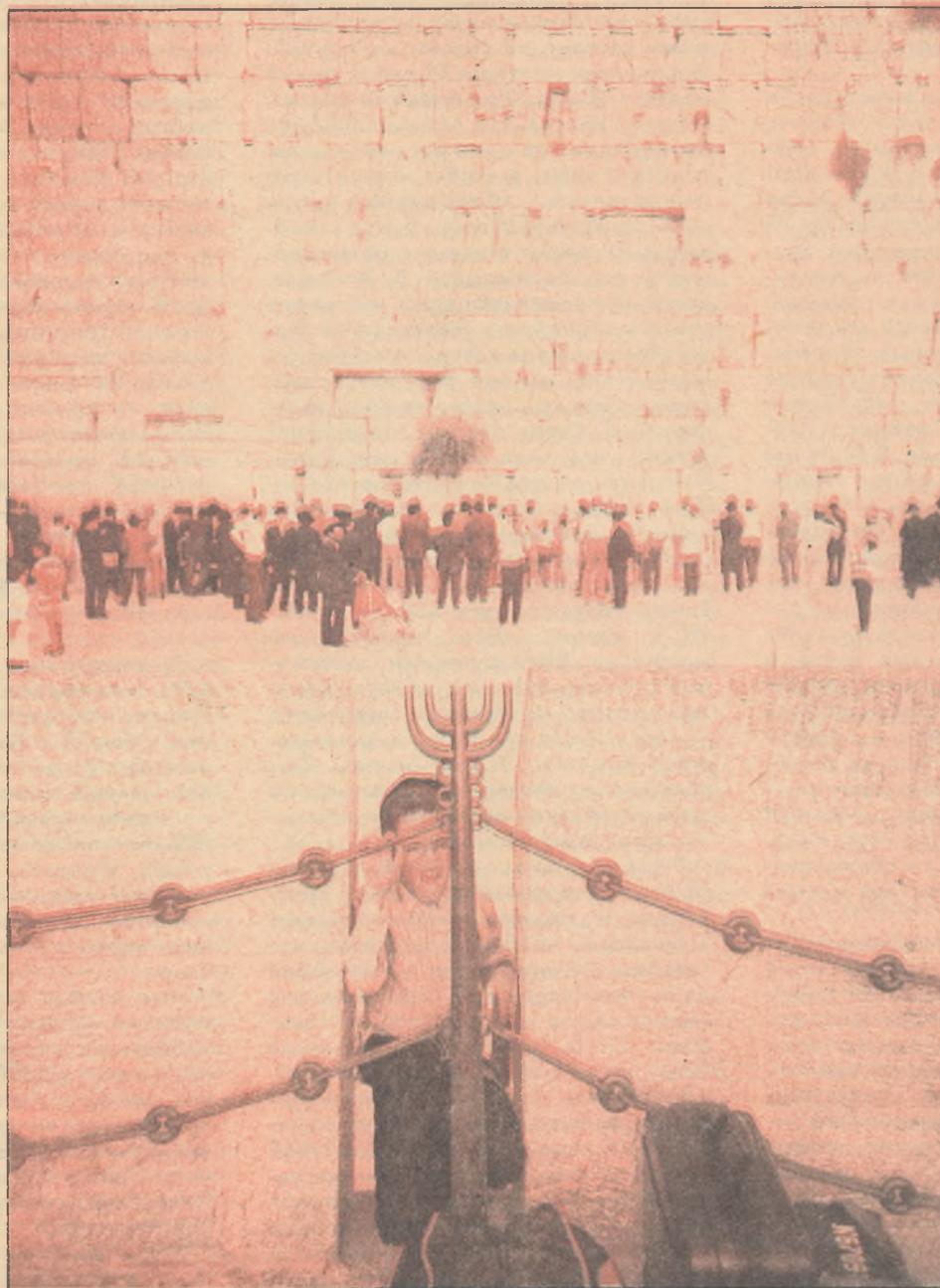
— Благодарю тебя за исчерпывающий рассказ и буду рад увидеть тебя в Латвии. Спасибо! Спасибо!

Февраль 1989 года.

«Avots» представлял  
ГУНАРС ЯНАЙТИС

ЮРИСТРЕНГА

# DON'T WORRY! BE HAPPY!



Сам Иерусалим после основания Израильского государства в 1948 году стал одним из фронтовых городов мира — граница с Иорданией пересекла город, оставив Еврейский университет в арабской части. В результате последней войны 1967 года

(Продолжение. Начало в № 9)

граница отодвинулась на восток за Иудейскую пустыню до реки Иордан и Мертвого моря. Теперь до границы простираются так называемые оккупированные территории (в том числе Голанские высоты и сектор Газа у Средиземного моря). Вместе на этих территориях, где разбросаны вкраплениями деревни еврейских поселений, живут 1,7 миллиона

палестинских арабов. В Израиле примерно 4,5 миллиона жителей. Полмиллиона родившихся в Израиле евреев живут за рубежом. После последней войны мир заключен только с одним арабским государством — Египтом. Более 20 лет неопределенности (или скрытого военного положения), почти уже два года *in-fidada* — каменная война арабских

детей и молодежи против еврейской армии плюс личная война против оккупации каждой арабской женщины — ей остается произвестись на свет 10 детей и уже через 10 лет евреи в Израиле станут национальным меньшинством! (Аналогично — среднеазиатский демографический бум и меньшинство русских в СССР к 2000 году, если такой будет существовать). Одним словом, это только несколько из сегодняшних тысяч проблем Израиля. Но вернемся к Иерусалиму.

Город необыкновенно вырос после 1967 года. Застраиваются холмы. 750—900 м над уровнем моря. Совсем другой климат, чем в приморском Тель-Авиве. Днем жарко, после обеда начинает дуть свежий западный ветер, а ноги прохладные. Все здания обшиты одним и тем же желтоватым, грубо обтесанным камнем. Солнце. Облаков нет. Почти нет тени! Вокруг дрожит накаленный золотистый воздух. Все учреждения сегодня закрыты — религиозный еврейский праздник. Большая церемония у Стены Плача в старом городе. В 14.00 мы должны встретиться с одним чиновником в ТВ центре. Еще есть время. Идем прогуляться по Центральному автовокзалу. Неожиданно подъезжают армейские джипы, высканивают солдаты с закатанными рукавами, сгоняют всех нас в зал вокзала, закрывают железные двери и заставляют нас ждать, пока саперы проверяют забытый пластмассовый кулек. — Да, пожалуйста, можете быть свободны, там ничего не было! Но иногда бывает. И взрывается. А иногда саперы взрывают забытый портфель, а внутри там картошка. Всякое бывает. Поэтому в общественных местах больших урн для мусора нет.

В проходной ТВ студии тоже сидят солдат. В штатском, с автоматом на коленях. После 14.00 в здании радио нас ждет встреча с человеком, который нам посоветует, как действовать, чтобы побыстрее начать съемки. После страшной жары на улице, каждый получает по стакану ледяной воды. Он говорит долго — на иврите, наш хозяин переводит. Меня бросает в сон. Пару раз чуть не свалился с табуретки. Вообще, все предельно просто и ясно. Письмо в Министерство культуры затерялось. Его просто никак не найти. Машины нет. Помочь он ничем не может. — Приезжайте завтра рано утром в пресс-центр в Министерство иностранных дел за удостоверениями аккредитации журналиста. Иначе вы никуда не попадете! И тут вот еще несколько телефонов. Может быть, что-то получится! Желая успеха!

Прощаемся и идем по солнцепеку по улице в сторону ТВ. Навстречу идет кто-то говорящий по-русски, потом из здания ТВ выходит один бывший одессит, через миг еще один.

Если бы не было нещадного солнца, можно было бы подумать, что это собрание на бегу происходит в коридоре Одесской или Киевской киностудии. У этих ребят голова работает. Нам предлагают с десяток идей и вариантов, как попасть на оккупированные территории интересующего нас города. Кто поедет? На какой машине? Сколько это будет стоить? — Вас надо застраховать! И вашу аппаратуру тоже! Нужна машина с проволочными сетками на стеклах от камней! Сотрудники местного ТВ давно уже не ездят в Шхем. По-английски Nablus. (Могила Иисуса. Там побывал Райнис.) Едущий должен знать русский или английский язык, а чтобы можно было разговаривать, обязательно нужно знать арабский. Может быть, в провозах поедет студент с режиссерского, сопровождавший Э. Климова, когда он подыскивал здесь места для съемки «Мастера и Маргариты»? Может быть, находящаяся в московском подчинении миссия русской православной церкви может помочь транспортом? Один одессит предлагает отвезти нас туда сейчас же. Едем. Русская подгорка — недалеко от Старого города. Большая православная церковь. Вокруг квадратом большие здания, принимавшие в царское время паломников со всей России. Теперь здесь полиция. Тюрьма и только в одном здании православный монастырь. Всем руководит энергичный одессит. Звоним в обитую железом дверь. Появляется монахиня. — Нет, никого нет. Никого из начальства! Хорошо! Уходит искать. Тем временем одессит рассказывает об этом интересном заведении с длинными антеннами на крыше.

В предыдущие годы застоя одна еврейская переселенка решила снять фильм и пришла взять интервью у батюшки, но батюшка сказал, что говорить не может. Не может один день. Не может другой. Наконец она спрашивает, в чем же дело. Нет шофера. Пусть приходит тогда, когда будет его шофер. Она приходит. Шофер есть, все сидят. Она задает вопрос, а батюшка косится на шофера. — Об этом можно! Махнул рукой шофер. И батюшка тут же начал увлекательно рассказывать. Порядок есть порядок. Не каждому дано быть шофером Иерусалимского монастыря Московской епархии. Избранник должен быть по крайней мере подполковником. После появления фильма, правда, весь персонал монастыря сменился. В то время и на наших сценах под историческими костюмами порой угадывались погоны...

Вообще эту русскую церковь, в отличие от других, называют «красной».

Тем временем возвращается сердечная монахиня и, разводя руками, сетует, что действительно никого нет. Машина? Да, есть. А шофера нет. Она дает телефон батюшки. Одессит

еще хочет свозить нас к Стене Плача. Объезжаем высокие стены Старого города. Мимо открытой эстрады. Без скамеек на землю могут сесть около 20 000 зрителей. Тут в начале лета танцевал также рижский балет. Полиция не пускает в ту сторону, где находится Стена Плача. Улицы полны машин и людей. Въезжаем на холм с красиво настроенными террасами, дорожками для прогулок, с которого открывается вся панорама старого и нового Иерусалима. Нигде в мире нет такого зеленого тона оливковых деревьев — с отливом черного серебра, а среди них золотистые или белые строения. Прямо напротив в низинах арабские деревни. День клонится к вечеру. Освежает приятный ветерок. На обратном пути заезжаем в тщательно отреставрированный квартал художников с небольшими двух- и трехэтажными домами. Здесь, в одной трехкомнатной квартире, некоторое время жил режиссер Ю. Любимов. Он был в восторге от места и вида на крепостные стены старого Иерусалима. Но купить эту квартиру ему не удалось, за нее просили 300 000\$. Гостиница мэра города, в которой останавливались многие артисты с мировым именем. Мэр! Отец города. Патриот. На своем посту Тармар Коллек уже 40 лет!!! Он все еще старается примирить арабов и евреев...

Cinematheque. Киноархив. Сидя в кафе на террасе, оглядываем стены старого города, освещенные вечерним солнцем. Дальше — в ало-фиолетовых тонах Иудейская пустыня. Еще дальше холмы, за которыми где-то вдали прячется Мертвое море. «Поднять покрывало Изиды и умереть!» (Райнис). Через долину со стороны пустыни сюда пробирается вечерний сумрак. Звенят колокольчики коров и коз, возвращающихся в хлев...

Пью пиво, закусывая большими мягкими бутербродами, и замечаю небольшую металлическую табличку на стене — в 1987 году это прекрасное здание с многочисленными залами Иерусалиму принес в дар последний муж Ливы Ульмане! Резко становится темно и даже прохладно. Над Иудейской пустыней встает красная круглая луна.

После 21.00 мы уже в Тель-Авиве. Ужин совмещен с обедом. Израильские ТВ новости. Интервью из Шхемы с участием репортера Московского Центрального телевидения...

Душно. Не помогает ни вентилятор, ни кондиционер. Спать тяжело. Болит нога. Компресс не помогает... Тут даже каждый в своей машине старается встроить кондиционер. Главная проблема — как спастись от солнца! Дома строят с максимальными возможностями сквозняка и пол выстилают каменными плитами. Самая низкая температура зимой +8° С, но у моря влажно и прихо-

дится поеживаться. А теплой водой снабжает солнце. Круглый год. На крыше каждого дома солнечные батареи!

11 августа. Пятница.

Утром перелистываю выходящие тут четыре газеты на русском. Прочитал также статью о маленькой клапкалнциемской Марточке, о фальшивом «янтаре» и ее пальчиках. Всего пару дней назад я еще сидел в Клапкалнциемсе у дома ее отца. Пили кофе на террасе. Марточка готовилась к поездке в Западную Германию, чтобы немецкие врачи помогли исправить «ошибку» русской армии.

После завтрака едем в Иерусалим. По дороге наш хозяин рассказывает об Израиле. Основан сознательно как национальное еврейское государство. Но еще есть арабы. Как в таком государстве сохранить демократию? Неевреям получить подданство затруднительно. У родившихся тут арабов есть подданство, но служить в еврейской армии они не могут. Остальные проживающие тут меньшинства служат — бедуины, черкесы, друзы, арисяне. Еврейские выходцы из Советского Союза с записью в паспорте — еврейское подданство получают сразу, без записи — дело затягивается. Представителям другой национальности, чтобы стать евреем, надо сдать экзамен раввину в синагоге. Надо ходить на курсы, учить иврит, мужчины должны обрести себя. Если все это сделано, то в итоге евреем с малой болью может стать любой мужчина. Женщина — понятно, совсем легко. Есть и свои протестанты. В одну веселую секту протестантов ортодоксальной веры мы попали позже.

В полдень мы находимся в Иерусалимском пресс-центре. Чиновника, который занимается аккредитацией зарубежных журналистов, еще нет или уже нет. Сажу в буфете и читаю по очереди, что европейские газеты и журналы пишут о Прибалтике, Латвии и пакте Риббентропа — Молотова. Через некоторое время появляется необыкновенно темпераментный и энергичный человек средних лет, говорящий английским голосом Армстронга. Его мать переселилась сюда в 1904 г. из Одессы. Он тут же хватается за наши фотографии. Отшифровывает еврейских политических деятелей и работников культуры рядом с Райнисом. — А как вы смотрите на пустыню? Оазис! Не правда ли? Палатки бедуинов. Если снять с них телеантенны! Да! No problem! Удостоверение будет! Идеи бесплатно! Несколько еврейских анекдотов? Пожалуйста! Ведь тут на этой фотографии рядом с Райнисом стоит Каспий — почтенный консул Латвийской Республики в Палестине. Да, его дом здесь, в Иерусалиме. Я вас туда отвезу! В конце концов, Каспий приходился мне чуть ли не

родственником! В молодости (он мне подмигивает, в надежде, что смогу припомнить еще что-нибудь в том же роде и понять) я некоторое время ухлестывал за его младшей дочкой (снова хитрое подмигивание)! В Тель-Авиве вы обязательно должны обратиться в Архив Сионистов. Может быть, кто-то из снявшихся на фотографии еще жив?! Может быть, поднять гостевые книги? Бялик (еврейский классик) вместе с Райнисом?! Вы должны сходить в дом-музей Бялика в Тель-Авиве! По фотографии видно — Райнис побывал в кибуцце Дгания. Езжайте туда! Сын Каспия еще жив, он в Тель-Авиве! Ищите! — кричит он, заполнив собой все помещение буфета.

— Вам нужен пластический материал! Движения в кадре — караван идет через пустыню!!! — он уже взялся за режиссуру. Как его мать обездолила Одесскую киностудию. В 1961 году режиссер Левин снимал там крушение западногерманского корабля. В павильоне раскачивали каюту, лили воду, пускали дым. Ко всему прочему я еще должен был плакать. Но это ну никак не удавалось. Левин умолял, смазывал мне глаза луковым соком. Ничего! Этот человек по ту сторону столика смог бы любого заставить плакать или смеяться. И снять что-то большое. Не только кораблекрушение. Вдруг он взглянул на часы. — Что? Уже второй час! Моя контора наверху заканчивает работу!

Да, дама, которая должна скопировать мою фотографию с паспорта, выписать журналистские удостоверения, очень сердита, и ее не могут умиловить наши сувенирные национальные ленточки «Дайльраде».

Вы поняли, что вы подписали? — Я повторяю: при выезде из Израиля весь отснятый материал надо представить для цензуры! Это уже неплохо, в Риге не надо будет мучиться с проявлением негативов! Там не должен быть виден ни один военный объект!

— А верблюд — это военный объект?

— Верблюд — нет! Верблюд с отчетливым регистрационным номером — да! И еще более того, если верхом на верблюде солдат! А еще более, если у солдата в руках — автомат!..

Прогуливаемся по улицам, посидели в сафе за баночкой пива Массабее и омлетом в ожидании 17.00. Чтобы лицом к лицу встретиться с осязаемым результатом предыдущего собрания на улице — с нашим гидом, шофером, администратором и переводчиком в одном лице.

Час просидели на раскаленной солнцем каменной скамье. Она пришла сюда из Ленинграда восемь лет назад. Машина небольшая, но старая, что верно, то верно. Зато 40% в день плюс бензин с нашей стороны, была ее самой низкой и нашей самой высо-

кой ценой, удовлетворившей обе стороны.

Едем назад в Тель-Авив. Израиль удивительная страна. Сюда приехали евреи со всех концов света. Есть белые, черные, желтолицые. Есть блондины и рыжие. Из Аргентины, Марокко, Эфиопии, Средней Азии, Индии и Китая. Тут самые разные языки, уровни культуры, обычаи, переживания, отдачей и требованиями. Конечно, конфликты неизбежны. Конфликтуют, мы и учимся, как стать нацией! Мы осваиваем культуру!

— А как обстоит дело с Израильской компартией?

— Так же, как и некоторые другие западные компартии, она делится на независимую и зависимую от Москвы. Но вообще, это к нам больше не относится, потому что 90% членов партии — арабы.

Вечером смотрим программу ТВ. Можно выбрать четыре: I программа Московского ЦТ, две израильские и Иорданская. В этот вечер по Израильскому ТВ идет целая передача, в которой использованы ошибки актеров, забывших или перепутавших текст, оплошности во время съемок. Очень смешно. Неудачи актера Reagan'a и его жены перед камерой ТВ. Как спотыкаются, падают и свинское поведение подаренного ему коня...

Поздно ночью со всеми манатками и приватив с собою кровать, перебираемся немного подальше в пустую квартиру. Хозяин любезно сдает их нам до конца нашей киноэкспедиции. Трудно заснуть. Даже лежа на сквозняке на полу на матрасе, не накрываясь. Духота. Единственное, нет гадких комаров, как в Риге.

12 августа. Суббота. Саббат.

Вчера был святой день у мусульман, сегодня — у евреев, завтра будет у христиан. Дней похмелья нет, потому что нет пьяниц. Если кто-то где-то там пил, то тут больше этого не делает. В среднем рабочий за свою месячную зарплату может купить 400 бутылок водки. Может купить все, но ничего не выпить. Жарко. Потеешь. Сердце прихватывает, и алкоголь или умирают, или бросают. Не пьют даже на свадьбах...

Следующий день у евреев начинается с заходом солнца. В Шаббат все закрыто. Особенно в Иерусалиме. В вечер Шаббата после захода солнца на улицах постепенно начинают появляться люди, открываются кафе, рестораны, магазины и торгуют, пока еще кто-то хочет что-либо купить, вплоть до 24.00...

Наша хозяйка отвела нас в старый Яффа, откуда в старые добрые времена застоя приходили к нам апельсины. Начинаем с начала путешествия Райниса по Палестине. Тут в 1929 году появился пароход, от которого на маленькой лодочке к бе-

регу причалили с флагом Латвийской Республики в руках Янис Райнис и док. Лифшиц. У нас всех хорошее настроение, я обут в даугавпилские сандалии, и наш гид проводит нас по старейшему порту Ближнего Востока. Прошлись по молу до конца. За изгибом морского берега перед нами простирается с прямо-таки американскими небоскребами бывшее предместье Яффы, нынешний Тель-Авив.

Настоящий утренний рыбный базар давно уже кончился, но еще один арабский рыбак продает небольшую рыбу, Роджер осторожно включает ее в свой фильм. Мимо кукольного театра, актеров с куклами, которые стараются заманить зрителей на свой спектакль, через узкие улочки старого Яффы, где не кончается вереница всевозможных мастерских художников, галерей, выставочных помещений, лавок, мы поднимаемся над городом в парк к скульптуре павшему сыну скульптора. За спиной у нас панорама Тель-Авива с самым высоким зданием города, построенным на деньги того же самого спонсора, чья фамилия высечена у подножия памятника. Деньги, деньги, деньги! Как эта земля богата спонсорами! И всюду таблички! И всякий может прочесть — меня пока здесь нет, но мои деньги с вами! С начала столетия центр Ротшильда выделял и деньги. И евреи понемногу выкупали у арабов свою древнюю землю. Арабы радовались — текли деньги, расширялись гаремы, дворцы. До тех пор, пока... Было продано слишком много!..

Театр под открытым небом, на заднем плане Тель-Авива отели. Небольшое кафе-театрик в бывшей мечети, стоят столики в кафе, стулья рядами без столиков на четырехугольном балконе... католический монастырь, ночной бар в бывших арабских конюшнях, на улице перед входом стоят настоящие лошади, впряженные в свежевыкрашенные кареты. По морю плывут большие катамараны с огромными рекламными щитами. Летят кукурузники, к хвостам приклеены длинные змеи с рекламой холодильников. Бульдозеры медленно сравнивают с землей арабскую Яффу, которая построена на турецкой, на рениской, на греческой Яффе. Стою на горе, пью холодную воду из взятой с собой бутылки, мучаюсь от жары и зависти. «Народ, жаждущий во тьме, увидит свет великий...» (Исаия 9:2). Как далеко мы от нашей земли обетованной?

Едем по приморскому бульвару в Тель-Авив. Рушатся построенные с 1910 г. невзрачные 3—4-этажные до-

мишки, уступая место ряду прибрежных отелей. В одном из них нам без заминки дали ключ от углового номера на 16-м этаже, с балкона которого выгоднее всего снимать цветистую, запруженную людьми полосу средиземноморского пляжа.

Потом прогуливаемся мимо прибрежных кафе, отбиваясь от зазывал, предлагающих дешевые и вкусные блюда и напитки. Прибрежные дискотеки работают целый день. Уже сильно прихрамываю на обе ноги, что поделаешь, если они не соответствуют даугавпилским колодкам. Сам виноват. Во мне загорается зависть к хорошо упитанным беззаботным людям, находящимся в отпуске, которые в теплую погоду отплясывают под музыку Цфасмана, Блантера, Френкеля, Либера и под другие прекрасные мелодии...

После обеда меня привозят домой с кровавыми дырками на пятках. Роджер еще полон энергии и предлагает обсудить план послеобеденных мероприятий, но, когда, помывшись в душе, обнаруживает, что какая-то злая тайная сила вскрыла одну из наших коробок с негативами, засветив их и таким образом испортив целых 100 метров нашего светлого будущего пути протяженностью в несколько км, он больше не говорит ни слова и идет спать. Мы с Игорем поступаем так же. Но сквозняк сильно дергает жалюзи, и заснуть просто невозможно. Лежу на полу и раскачиваю дырявые ноги на сквозняке — до тех пор, пока не встает Роджер. Он заставляет меня облачиться в светлые одежды и начать серьезно готовиться произнести монолог Иосифа в Яме в уличной толпе в Тель-Авивском Sabbath Endspiel (завершающее представление). Четыре года партизанской военной жизни вместе с Роджером в поездках по всем местам эмиграции Райниса, пытаюсь напасть на след неуловимого, дает мне право — категорически отказываюсь прыгать в эту яму, в надежде на спасение в каком-нибудь другом монологе. Это мог бы быть монолог Индулиса на немецком. Спор прерывает приход Нашего Покровителя. Укладываем аппаратуру и в 18.00 едем в старый яффский порт.

Я не стану утверждать, что я очень хороший ребенок. А что же это такое, хороший ребенок? Это вы можете узнать, съездив в штат Мичиган, в Каламазуский латышский детский сад, где листок на стене гласит: Очень хороший ребенок 1) помогает другому ребенку, 2) выходит на улицу, взявшись за руки с другим, 3) сидит спо-

койно, 4) в ванную комнату идет спокойно, 5) слушает, когда говорят другие, 6) не вступает в спор, когда спорят другие, 7) послушен, 8) просится на горшок, 9) убирает игрушки, когда заканчивает играть, 10) съедает весь обед!

Нашему хозяину удалось договориться с одним арабским юношей с моторной лодкой для наших съемок — 1/2 часа за 40 шеккелей (20\$). Другого выхода нет — надо платить. Прибил к рейке флаг Латвийской Республики, остальные приносят аппаратуру, затем объявляется еще один капитан, и выезжаем между молом и яффским старым городом на горе. За полчаса приезд Райниса в Палестину снят. Лодочник требует еще 10 шеккелей для друга, но вынужден мириться с начально договоренной суммой. Красный солнечный шар над Средиземным морем, закатом окутываются пустые облака. В порт возвращаются прогулочные кораблики и яхты. Едем в центр Тель-Авива. В центре широкий вращающийся цветной фонтан, над водой еще выше взвивается газовое пламя в сопровождении «Болеро» Равеля! Долго разъезжаем вокруг — все боковые улочки забиты машинами, негде поставить машину. Наконец, оставляем в многоэтажном платном гараже — 7 ш.

В универсаме Dizengoff Center в людской гуще организуем что-то похожее на съемки. Наш Добрый Дух включает лампу освещения, встает на ящик и отвечает на 14 вопросов, откуда мы и что снимаем. Произношу монолог Индулиса, а у меня за спиной мальчишки делают мне «рожки». Делаем пробу еще на улице перед магазином. Тоже в толпе. Какой-то мужчина из Москвы. Говорит, что знает меня и осведомлен о наших съемках из местных газет (?!). Еще снимаем фонтанные каскады в торговом центре у городской мэрии. Еще парочка пива, и в 24.00 наш рабочий день завершен. Едем домой в Галлон.

Заворачиваю в компрессы обе ноги и с ножиком, купленным в Америке, а произведенным в Швейцарии, мстительно бросаюсь на сандалии, произведенные в нашем Даугавпилсе. На сей раз дело обходится одним обрезанием — жестоко срезаю весь задник, таким образом превращая их в шлепанцы странной конструкции. Окончательная расправа или погребение откладывается на более поздний срок, когда куплю что-нибудь полегче. Правда, все складывается по-другому.

(Продолжение следует)



# ПАЦИФИСТСКИЕ СЕКТЫ, БОЛЬШЕВИКИ И ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ

## ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

Власти обвиняли религиозные меньшинства, в том числе баптистов и евангельских христиан, в том, что они якобы настроены враждебно по отношению к Советскому правительству. Многие из них сейчас отказывались от воинской обязанности, в то время как раньше они служили в царской армии. На эти церкви с успехом оказывалось давление с тем, чтобы вопрос об отказе от воинской повинности не считался делом личной совести каждого члена религиозной общины. В 1923 г. «Известия» опубликовали письмо одного из лидеров евангельских христиан, который призывал к исполнению воинской повинности. Спустя какое-то время руководство церкви евангельских христиан уступило и даже стало называть службу в армии «христианским служением родине». Баптистское церковное руководство присоединилось к этой позиции. В воинской службе оно усматривало средство «разоружить зло и тем самым служить любви». Библейские слова о не-

насилии должны были относиться исключительно к личным отношениям. Эти церковные лидеры были озабочены прежде всего хорошими отношениями с правительством и даже боялись, что отказники от воинской службы могут злоупотреблять религиозными мотивами и тем самым нанести вред своей церкви.

18 сентября 1925 г. был издан новый закон, который признавал право на освобождение от воинской повинности лишь за членами тех сект, которые проповедовали пацифистское учение еще до революции и требовали от своих участников отказа от воинской службы. Они обязаны были исполнять в качестве замены гражданскую службу, которая в мирное время заключалась прежде всего во вспомогательных работах при катастрофах, эпидемиях или лесных пожарах. В случае войны отказники от воинской службы должны были нести невооруженную службу на фронте или в войсках по снабжению, что придавало гражданской службе милитаристский характер. В октябре 1926 г. Центральный исполнительный комитет и Совнарком установили продолжительность гражданской службы, заменяющей воинскую, в два года. Дополнительное распоряжение устанавливало, что каждый отказник от воинской службы, отбыв свой срок тюремного заключения, должен быть

вновь призван в армию, и так до истечения призывного возраста, то есть до сорока лет. Оговаривались, правда, особые случаи, когда суд не должен был пользоваться правом на многократное осуждение.

В конце двадцатых годов произошел глубокий поворот в советской политике по отношению к церкви — от терпимости к репрессивным мерам, направленным против религиозных меньшинств. В 1921 г., при введении новой экономической политики, Советское правительство стремилось воспользоваться экономическими способностями адвентистов, баптистов и т. д. и даже предоставляло им финансовую помощь для создания сельских коммун. Секты должны были подавать пример кооперативных методов труда. Добросовестность сектантов, которую Макс Вебер рассматривал в своей работе «Протестантские секты и дух капитализма» как решающий элемент в формировании «капиталистического духа», должен был способствовать возникновению «социалистического духа». На XIII съезде коммунистической партии в 1924 г. М. И. Калинин призвал партию «направить на рельсы социалистического труда» значительный культурный и экономический потенциал почти десяти миллионов сектантов. В том же году В. Д. Бонч-Бруевич охарактеризовал сектантов в

статье, опубликованной в «Правде», как «утопических социалистов в идеологии» и как образцовых рабочих на практике. Он предложил использовать сектантов во всех кооперативах и совхозах. В самой коммунистической партии сектантов наградили ироничным титулом «партийная фракция с религиозным уклоном». В 20-х годах существовали сельские коммуны адвентистов, баптистов, евангельских христиан, молокан (коммуна «Правда»), («Коммуна Апокалипсиса») и трезвенников, которые охотились поддерживать правительство. В 1922 г. было не меньше ста коммун, которые находились под руководством толстовцев. Евангельские христиане даже лелеяли надежду основать с помощью Советского правительства целый город, который был бы организован согласно их религиозным принципам. Но в середине 20-х годов большевики стали воспринимать быстрый рост этих сект как политическую угрозу. Внутри партии дело дошло до открытых дискуссий по этому вопросу. «Лига безбожников», созданная Советским правительством, обвиняла Народный комиссариат сельского хозяйства в том, что хорошие отношения с сектантами и экономические успехи последних дискредитируют его политику. Так же резко Лига выступила и против воззрений В. Д. Бонч-Бруевича. Сталин положил конец политике терпимости. Распоряжения от 10 июня 1928 г. и от 8 апреля 1929 г. сильно ограничивали права православной церкви и всех религиозных меньшинств. Все виды деятельности, не связанные впрямую с отправлением религиозного культа, например материальная помощь верующим, ли организация кооперативов, были запрещены. Жизненное право пацифистов, которые самостоятельно организовывали свою хозяйственную жизнь, оказалось под угрозой из-за этих мероприятий.

В. Чертков и другие русские толстовцы просили в 1929 г. Интернационал противников войны не обсуждать в печати положение пацифистов в Советском Союзе. Это принесло бы им вред. Было бы лучше, если бы пацифистские организации выступили за установление дипломатических отношений между западными странами, например США, и Советским Союзом. Разрядка международной напряженности и уменьшение военной опасности могли бы смягчить подавление пацифизма в Советском Союзе. В. Чертков приводит различные причины для жесткой политики Советского правительства. С одной стороны, большинству партийных вождей присуща негативная позиция по отношению к религии в целом, и по отношению к религиозному пацифизму в особенности, а с другой стороны, политика коллективизации привела к серьезным кон-

фликтам с крестьянством. Вследствие этого, как объяснял Чертков, возникла атмосфера репрессий, которая сказалась и на пацифистах.

13 августа 1930 г. был принят закон о воинской повинности, которым подтверждалось право граждан, по рождению и по воспитанию принадлежащих к традиционным пацифистским сектам, в мирное время отказываться от воинской службы и проходить взамен гражданскую, а во время войны привлекаться для работы в невооруженных военных частях. Однако в период господства Сталина между правовыми нормами и правовой практикой возникла постоянно углубляющаяся пропасть. Трибуналы выносили приговоры отказникам от воинской службы по большей части не за уклонение от воинской повинности, а на основании закона о симуляции религиозных убеждений с целью избежать воинской службы. В период с 1935 по 1941 год не известен ни один случай, когда религиозные пацифисты могли бы использовать свое право на замену воинской службы гражданской.

В конституции 1936 г. воинская обязанность закреплялась как конституционное право. В соответствии с этим «святым» долгом, закон от 1 сентября 1939 г. о воинской повинности не предусматривал возможности отказа от воинской службы. Обосновывалось это тем, что в предыдущие годы не поступало заявлений об отказе от воинской службы.

Декрет от 4 января 1919 г. и последующие законодательные постановления об отказе от воинской службы в советской правовой практике по-разному применялись к различным пацифистским сектам. Ниже будет показана большевистская политика по отношению к меннонитам, адвентистам, толстовцам и духоборам. Будет также освещена история этих сект после второй мировой войны.

## МЕННОНИТЫ

Из-за постоянного перехода власти от одной группировки к другой в ходе гражданской войны декрет от 4 января 1919 г. вплоть до конца 1920 г. не имел большого значения для меннонитских поселений на Украине. Эти районы по очереди занимали то красноармейцы, то белые, то банды Махно. Но начиная с 1921 г. вопрос о праве на отказ от воинской повинности занял одно из первых мест в переговорах меннонитского руководства с Советским правительством. Хотя большевистские лидеры издали декрет от 4 января 1919 г., имея в виду и меннонитов, местные военные власти и народные трибуналы отказывались применять его к меннонитам, ссылаясь на то, что они не являются пацифистской сектой в том смысле, кото-

рый заложен в декрете. Для подтверждения припоминались «самозащита» во время гражданской войны и сотрудничество с белыми и немцами. Меннониты якобы стали требовать теперь от большевиков признания принципа ненасилия, от которого сами же отказались в ходе борьбы против нового режима.

Различные большевистские вожди, например С. Г. Раковский, председатель Совнаркома Украины, занимали благожелательную позицию по отношению к требованиям меннонитов о замене воинской службы гражданской. В начале 1923 года была достигнута договоренность с представителями московского правительства об особом законе: меннониты должны были в течение трех лет исполнять гражданскую службу в должности санитаров или же гражданскую службу в военных частях. Далее, они освобождались от обязанности приносить присягу на знамени. Но этот специальный закон о военнообязанных меннонитах оказался недействительным после постановления Комиссариата юстиции и Верховсуда от 5 ноября 1923 г. и провозглашения закона о воинской повинности от 18 сентября 1925 г., которые предусматривали всеобщие основания для отказа от воинской повинности. Но законоположение от 1925 г. в двух аспектах не соответствовало требованиям меннонитов: во-первых, решение о праве на замену воинской службы гражданской передавалось в компетенцию местных народных судов, которые, как правило, отклоняли такого рода ходатайства. Во-вторых, не был гарантирован гражданский характер замены: в случае войны лица, проходящие гражданскую службу, могли привлекаться к невооруженной военной службе.

Правовая неуверенность в вопросе о праве на отказ от воинской службы и нарастающие экономические трудности привели к новой волне эмиграции. Между 1922 и 1926 г. эмигрировало более 21.000 меннонитов. Вслед за этим Советское правительство в 1927 г. запретило дальнейшую эмиграцию. Лишь немногим удалось добиться выезда благодаря личным ходатайствам.

По мере стабилизации сталинского господства репрессии против меннонитов обострялись. На богатые крестьянские хозяйства меннонитов после 1929 г. обрушились и новая церковная политика, и политика принудительной коллективизации, и так называемая политика «раскулачивания». Во многих местах их экспроприировали и угоняли в Сибирь. Часть общин разбежалась. Другие покинули свои села и стали рабочими в промышленных областях. Более 10.000 меннонитов приехали в столицу в надежде получить разрешение на эмиграцию. Благодаря вмешательству германского правительства в ноябре 1929 г.

смогли эмигрировать от 4 до 5 тысяч меннонитов. Остальные либо были принудительно водворены обратно, либо угнаны в Сибирь. Нормальная жизнь общины перестала существовать после 1931 г., когда большинство меннонитских проповедников были арестованы. Как культурное явление меннонитство, по мнению историка Г. Гильдебранта, было уничтожено в 1933 г.

В период между 1930 и 1935 годами лишь немногие новобранцы были освобождены от воинской службы. Условия в трудовых лагерях, где они должны были проходить свою гражданскую службу, почти ничем не отличались от условий тюремного заключения. В последующий период, с 1935 г. и до начала второй мировой войны, не известен ни один случай, когда меннонитов освобождали бы от воинской службы.

Существуют разные объяснения сталинских репрессий по отношению к меннонитам: во-первых, меннонитская община образовывала замкнутую, особым образом организованную экономическую сферу, которая с трудом поддавалась включению в политику коллективизации. Во-вторых, власти боялись пацифистского влияния на другие политические и религиозные группы. В-третьих, Сталин проводил политику репрессий по отношению ко всем религиозным общинам. В-четвертых, меннониты составляли единую этническую общину. И эта независимость была мишенью той политики, которую Ленин в одной из своих последних работ назвал «великорусским шовинизмом»; по его мнению, подобная политика представляла собой позицию «типичных русских бюрократов». Путем разгрома всех форм политической и культурной самостоятельности советское руководство при Сталине попыталось установить неограниченную власть государственного аппарата над всеми видами общественной активности. Следствием этой политики стало не только уничтожение религиозных и политических традиций меннонитов, но и их культурного и экономического богатства.

С 1937 г. начались новые аресты и высылки. После того, как началась война с Германией, в 1941 г., Советское правительство изгнало в Среднюю Азию и в Сибирь большую часть населения германского происхождения, в том числе и меннонитов. К. Краан оценивает количество меннонитов, сосланных до немецкого нападения, в 20 тысяч человек, а после 1941 г. за ними последовали еще 25 тысяч. Несмотря на то, что право на отказ от воинской службы по религиозным мотивам было формально отменено в 1939 г., советские военные власти призывали в армию далеко не всех призывников-меннонитов, так как они подозревали лиц немецкого происхождения в возможном сотрудничестве с врагом.

К моменту немецкой оккупации в некоторых поселках на Украине меннонитское население еще не успели депортировать. После Сталинградской битвы, в 1943 г., германское командование отдало распоряжение о переселении в область Вартегау, недалеко от Познани, 35 тысяч меннонитов. Их натурализация в качестве немецких граждан давала возможность дополнительно призвать в вермахт солдат.

После поражения Германии советские войска «репатриировали» в 1945 г. около 25 тысяч меннонитов из Вартегау в Советский Союз, где они должны были расселяться на Крайнем Севере и в Средней Азии. Старые поселения на Украине и на Волге после войны как бы обезлюдели. Дочерние колонии на Урале, восточнее Волги, и в Западной Сибири меньше пострадали в ходе войны. Сейчас меннонитские поселки расположены в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане. В Советском Союзе проживает от 50 до 100 тысяч меннонитов.

Со времен второй мировой войны для меннонитских общин характерна утрата изначальной культурной идентичности, а вследствие этого — религиозных традиций и немецкого языка. Начиная с 1956 г. предпринимались различные попытки возродить религиозные традиции меннонитской общины. В период с 1963 по 1966 гг. некоторые меннонитские общины присоединились к официально признанной с 1944 г. организации Всесоюзный Совет евангельских христиан-баптистов и приобрели благодаря этому побольше свободы в отправлении религиозного культа. В 1980 г. ВСЕХБ насчитывал от 20 до 30 тысяч меннонитов. С другой стороны, это вхождение означало государственный контроль всех сторон церковной деятельности и отказ от пацифистских позиций. С 1967 года власти регистрировали и самостоятельные меннонитские общины.

После длительного перерыва меннониты-новобранцы вновь оживили старую пацифистскую традицию и отказываются принести присягу. В большинстве случаев власти не подвергают этих пацифистов уголовным преследованиям и направляют их в стройбат.

## АДВЕНТИСТЫ

Поначалу революция принесла новые религиозные и публицистические свободы также для секты адвентистов. Число ее членов возросло с 6 тысяч в 1916 г. до 12.700 в 1926 г. В начале 20-х годов адвентистские группы с помощью Наркомата сельского хозяйства создавали сельскохозяйственные коммуны на Украине.

В 1924 г. адвентистское руководство объявило о своей лояльности по отношению к Советскому правительству. Каждому адвентисту было дано право свободно решать в вопросе об

исполнении воинской повинности. Но Советское правительство не могло с этим смириться: новый закон о воинской повинности от 18 сентября 1925 г. сохранял привилегии исключительно за теми пацифистскими сектами, которые традиционно требовали от своих членов отказа от воинской службы. Но сверх этого советское руководство попыталось использовать адвентистских лидеров в собственных целях. Они должны были, наоборот, агитировать своих членов за исполнение воинской повинности. В 1928 г., после ожесточенной внутренней дискуссии, руководство секты отступило. Оно выступило с заявлением, в котором провозглашался отказ от привилегии. Непосредственным результатом явился раскол секты: отделившаяся часть назвала себя «Реформированные адвентисты» (позже — «Истинные и свободные адвентисты седьмого дня») и ушла в подполье. Несмотря на разницу их позиций, сталинское руководство преследовало обе адвентистские секты. С началом войны особым преследованиям подвергались незарегистрированные адвентисты из-за их пацифизма.

После временных послаблений 50-х годов, начиная с 1959/60 гг., последовали новые репрессии при Хрущеве. Центральное руководство лояльного крыла адвентистов было распущено. Объединенные под этим руководством общины позже смогли получить государственную регистрацию, но им приходилось разделять свои моленные дома с баптистами. Истинные и свободные адвентисты продолжали сопротивляться государственному вмешательству в церковные дела и отстаивали свои исходные убеждения об отказе от присяги и воинской службы. На этом они стоят и до сих пор. Оба крыла насчитывали к началу 1964 г. примерно по 21.500 членов.

## ТОЛСТОВЦЫ

Право толстовцев на замену воинской службы гражданской всегда зависело от соответствующих законов и юридической практики. После декрета от 4 января 1919 г. принадлежность к секте или церкви не являлась условием для замены. Декрет распространялся и на толстовцев, которые не были связаны со специфической общиной, а действовали индивидуально. Неясным было законодательное положение тех толстовцев, которые являлись тотальными отказниками. Параграф 3 декрета от 4 января 1919 г., предусматривавший возможность освобождения от воинской повинности без замены, был составлен между прочим, еще и в пользу приверженцев учения Толстого о полном отказе от воинской службы. Но несовместимость замены с убеждениями призывника согласно данному параграфу, должна была выте-

коть из священных текстов его секты. А многие толстовцы действовали на индивидуальной основе. Еще одной проблемой при осуществлении декрета был отказ многих толстовцев от экспертизы Московского объединенного совета религиозных общин и групп и даже отказ от подачи властям заявления в духе декрета от 4 января 1919 г. Эти толстовцы считали, что юридический процесс, посредством которого их могут освободить от воинской службы, снижает моральную ценность их позиции. Другие последователи Толстого считали, что судебная процедура не в состоянии выявить мотивацию, основанную на совести и убеждениях.

Изменения в законе, принятые в 1919 г., не прояснили юридическую ситуацию в пользу толстовцев. Постановление Наркомата юстиции и Верховного суда от 5 ноября 1923 г. перечисляло ограниченное число пацифистских сект, члены которых и дальше могли ссылаться на декрет от 4 января 1919 г., но при этом недвусмысленно исключало толстовцев из сферы действия декрета.

В 20-х годах многие толстовцы — их число невозможно определить точно — были арестованы и даже казнены. К концу 20-х годов всем толстовцам, проживающим в городах, намертво заткнули рот. Советские инстанции запретили в 1929 г. всю деятельность «Московского объединенного общества памяти Льва Толстого» и закрыли их школы. Архив был передан московскому музею Толстого. Сельские коммуны толстовцев, которые раньше пользовались поддержкой центрального правительства, оказались в это же время в конфликте с местными властями. Тогда коммуны, например «Жизнь и труд», располагавшиеся поблизости от Москвы, решили переселиться в Сибирь. По ходатайству Чертоква ВЦИК поручил в феврале 1930 г. наркомату сельского хозяйства подготовить в Сибири область, пригодную для занятий сельским хозяйством. Некоторые члены ВЦИК все еще симпатизировали толстовцам. Переселение на новое место, под названием Тальжино, недалеко от нового промышленного центра Кузнецка, отчасти финансировали квакеры. Толстовцы получали в свое распоряжение на неограниченный срок около трех тысяч гектар земли. Они освобождались от воинской повинности и на три года — от налогов. Новый сельскохозяйственный поселок, основанный на общей собственности, привлек толстовцев из других коммун и членов пацифистских сект, таких как малеванцы и духоборы, и вскоре насчитывал 1000 жителей. Но в 1931/32 годах вновь вспыхнули тяжелые конфликты с местными властями. Применявшаяся толстовцами кооперация и коллективный образ жизни воспринимались как не соответствующие советским воззрениям.

В 1933 г. часть поселенцев была вынуждена переселиться на 700 км севернее, в Кожевниково на Оби, и там основать новую колонию. Но репрессии продолжались — повышались налоги, закрывались школы, учащались аресты и изгнания. Толстовцы писали жалобы во ВЦИК, указывали в них на свои хозяйственные успехи. Но жалобы приводили лишь ко временным улучшениям. В конце концов толстовские коммуны подали в 1937 г. ходатайство с просьбой позволить им жить в самом глухом и недоступном месте в Сибири, лишь бы их оставили в покое. Это ходатайство осталось без ответа. 1 января 1939 г. состоялось последнее собрание толстовской коммуны в Тальжино. С этого дня она стала обычным советским колхозом. К этому времени еще сохранялись несколько тысяч толстовцев, живущих в разных местах Советского Союза. Их коммуны были распущены, а многие из их обитателей угнаны в лагеря.

Толстовцы, пережившие ужасы сталинской тирании, сейчас живут в разных частях Советского Союза. В 1976 г. от них все еще продолжали поступать заявления о реабилитации. Несмотря на преклонный возраст, у этих толстовцев все еще сохраняются контакты друг с другом. Они продолжают развивать учение Льва Толстого о ненасилии, писать свои мемуары, вести дневники и создавать архивы, чтобы их история не была предана забвению.

## ДУХОБОРЫ

На протяжении всей гражданской войны декрет от 4 января 1919 г. не приобрел большого практического значения для большинства оставшихся в России духоборов по тем же причинам, что и для меннонитов. Духоборские поселения в Сибири долго были вне сферы господства Советского правительства. До того, как в 1921 г. окончательно установилось советско-русское господство, на Кавказе шла борьба за власть грузинских и армянских националистов, белогвардейцев, мусульманских группировок и красноармейцев. Духоборы, проживавшие в советских районах, могли нести гражданскую службу. Изменения декрета в 1920 и 1923 году не уменьшили их права. В 20-х годах, вплоть до упрочения власти Сталина, право духоборов на отказ от воинской службы, как правило, уважалось на практике.

К началу 20-х годов наличного земельного фонда не хватало растущему населению деревень. Весной 1921 года кавказская колония и эмигрировавшие в Канаду общины духоборов обратились к Советскому правительству с планом создания новых аграрно-коммунистических поселений. Письмо духоборов, адресованное Совнаркомом и содержащее

просьбу о предоставлении им строительных материалов для новых коммун, свидетельствует об их политическом самосознании: «Так как вы служите тому же великому и святому делу — коммунизму — за которое мы боремся уже более двухсот лет, мы искренне приветствуем вас как дорогих товарищей по совместному труду (. . .). Но так как мы видим, с какими трудностями вам приходится бороться, то мы считаем своим долгом прийти к вам на помощь со своим более чем двухсотлетним опытом. Мы предполагаем, что различие между направлениями, по которым идем мы и вы (. . .), не будет означать препятствия для совместных усилий в достижении конечной цели».

В начале августа 1921 года Ленин спрашивал у В. Д. Бонч-Бруевича, правда ли, что он принял духоборов в советскую экономику и очень ими доволен. Далее он осведомлялся о планах относительно переселения духоборов из Канады и в Кавказа. Одновременно Ленин прибавлял в своем письме, что он не хотел бы разглашать перед общественностью свою заинтересованность в духоборах. «Все эти вопросы — чисто личного характера. Поэтому я прошу, чтобы НИКТО не ссылался на мое письмо». На запрос духоборов из Канады о выездной визе для четырех представителей с целью достижения договоренности о ремиграции Ленин реагировал положительно. В письме от 30 августа 1921 г. к сотруднику Совета труда и обороны он сообщал: «Я абсолютно за. Мое мнение: тотчас же дать разрешение и ответить в высшей степени любезно». Канадские духоборы в 1922 г. предложили в своей телеграмме Народному комиссариату сельского хозяйства основать после своего возвращения пищевую фабрику стоимостью около одного миллиона золотых рублей. Для себя они просили о возможности поселиться в сельской местности, об освобождении своих детей от всеобщего, о твердом двадцатилетнем сроке освобождения от налогообложения, и о возможности гражданской службы взамен военной.

Около 3.000 духоборов с Кавказа и небольшая группа из Канады основали в Сальской степи, примерно в 150-ти км юго-восточнее Ростова-на-Дону, примерно 20 деревень. От применявшегося вначале кооперативного способа производства вскоре пришлось окончательно отказаться, распределить коллективную собственность.

В конце 20-х годов политика советских властей по отношению к духоборам изменилась из-за их отказа от воинской службы и связей с канадскими духоборами. Одновременно проводилась политика коллективизации, которой духоборы пытались безуспешно сопротивляться. Начиная с 1929 г., они вновь вынуждены были писать ходатайства властям, требуя сохранения

своей внутренней автономии и восстановления своего изначального аграрно-коммунистического способа производства. В качестве альтернативы они ходатайствовали о выезде из СССР. Но власти не пошли ни на одно из этих требований. Вместо этого они отобрали половину земель, принадлежавших духоборской общине в Сальске, а 120 членов общин были отправлены в 1931 г. в изгнание. На Кавказе сильно обезлюдил поселок духоборов Горелое. В период между 1926 и 1932 годами количество сибирских поселений духоборов на Амуре сократилось вполтину (сначала их было 10), а население уменьшилось с 2.311 человек до 207.

Во время второй мировой войны многочисленные поселки духоборов на Кавказе и в Сальской области были разрушены. Многие духоборы служили в Красной Армии, некоторые из них — в невооруженных частях.

При Хрущеве положение духоборов улучшилось. Они могли возобновить свои связи с канадской общиной духоборов. В 1958 г. даже велись переговоры с «Сынами свободы», группой канадских духоборов, оставшихся верными изначальным пацифистским и культурным традициям, относительно их возвращения в СССР. Хотя законодательные постановления об отказе от воинской повинности для пацифистских групп давно были отменены, власти обещали готовым возвратиться духоборам благоприятно отнестись к возможности гражданской службы взамен воинской. Однако к конкретным результатам эти переговоры так и не привели, ибо Советское правительство, по-видимому, боялось длительных споров с радикальной пацифистской сектой. Тем не менее канадские духоборы смогли многократно побывать в поселениях своих собратьев по вере в Сибири, на Кавказе и в Сальской степи. Из их путевых сообщений очевидно, что последние значительно ассимилированы советским обществом. Они теперь заняты не только в сельском хозяйстве. Многие духоборы, общее количество которых в 1966 г. составляло около 11.000 человек, приобрели академические специальности, либо работают на заводах и фабриках рабочими и служащими. Некоторые ведут политическую деятельность в местных органах управления, например в Грузии. Для военнообязанных духоборов не существует возможности замены воинской службы гражданской.

#### **АКТУАЛЬНОСТЬ ДЕКРЕТА ОТ 4 ЯНВАРЯ 1919 ГОДА**

С введением закона о всеобщей воинской повинности от 1 сентября 1939 г. была уничтожена правовая основа для гражданской службы взамен воинской. Позднейшие изменения в законе не коснулись этой его части. Но вопрос сохраняет свою ак-

туальность вплоть до сегодняшнего дня. И сегодня есть призывники — их число трудно назвать — которые по соображениям совести отказываются исполнять предписываемую законом воинскую повинность. Но они отличаются от своих предшественников, в пользу которых был издан декрет от 4 января 1919 г., по крайней мере, в двух отношениях.

Во-первых, сейчас в Советском Союзе, в отличие от прошлых времен, имеются случаи отказа от присяги. В уставе сказано, что ни один солдат после общей подготовки не может служить с оружием, не принеся военной присяги. Во-вторых, побудительные причины сегодняшних отказников от присяги и от воинской службы отличаются от тех, которые были у их предшественников. Мотивы стали более разнообразными. Если отказники от воинской службы, в пользу которых был издан декрет от 4 января 1919 г., руководствовались почти исключительно религиозно-пацифистскими причинами, то сейчас пацифистские и религиозные мотивы не обязательно связаны друг с другом. Кроме того, на первом плане часто стоят вообще мотивы иного рода. Некоторые баптисты и пятидесятники из незарегистрированных общин видят в принесении присяги не нарушение принципа ненасилия, а нарушение запрета на клятвы в Новом Завете. Другие баптисты и пятидесятники, а также меннониты и адвентисты отвергают присягу, так как она, по их мнению, является нарушением религиозного принципа ненасилия и запрета на клятвы. Литовские и украинские католики-националисты заявляют, что они не могут приносить присягу на верность армии оккупантов. Это противоречило бы их личной совести, их национальному самосознанию и религиозным убеждениям. Призывники еврейской и немецкой национальности, подавшие заявление на выезд, отказываясь от воинской службы на том основании, что знание военных секретов отсрочит их выезд как минимум на пять лет после окончания срока службы. Ссылаясь на свое заявление о выезде, они не рассматривают себя больше как советских граждан. Живущие в СССР со времен второй мировой войны свидетели Иеговы отвергают и присягу, и воинскую службу. Они исходят из неотвратимости эсхатологической борьбы Бога против Сатаны и рассматривают себя как свидетелей Божьих, которые не должны служить никакой государственной власти. Эта позиция не может быть приравнена к пацифистским принципам ненасилия, которых придерживаются меннониты или адвентисты. Члены независимых миролюбивых группировок, как, например, московской «Группы по установлению доверия между Западом и Востоком», отвергают воинскую службу из пацифистских убеждений. Для других

призывников основанием для отказа от присяги и воинской службы являлась война в Афганистане. Для некоторых она все еще является таким основанием.

Декрет от 4 января 1919 г., несмотря на существенные поправки после разнообразных изменений законов, в идеологическом отношении не утратил своего значения вплоть до сегодняшнего дня. Он представляет собой предмет идеологических дискуссий как в легальной, так и в независимой печати. Посредством интерпретаций истории возникновения и осуществления декрета советские историки пытаются опровергнуть требования религиозных пацифистов о праве на отказ от воинской службы, которые они обосновывают ссылками на декрет от 4 января 1919 г.

Так, например, в журнале «Наука и религия» за сентябрь 1979 г. за подписью А. Сулакова была опубликована полемическая статья, направленная против адвентиста, пытавшегося свой отказ от службы в армии обосновать ссылками на декрет от 4 января 1919 г. Декрет, говорилось в статье, был существенным образом изменен после 1919 года, особенно в 1923-ем году. Адвентист не должен претендовать на право замены воинской службы гражданской согласно декрету от 4 января 1919 г., не учитывая дальнейших изменений в законе. Начиная с 1923 года только члены тех пацифистских сект, которые уже при царизме противостояли милитаризму, сохраняли право на замену воинской службы гражданской. У адвентистов нет такой пацифистской традиции, так как они участвовали в боях первой мировой войны. Затем, в 1924 г., лидеры адвентистов отказались от каких бы то ни было притязаний на замену воинской службы гражданской. В качестве еще одного аргумента Сулаков ссылается на публикации зарегистрированной секты адвентистов, в которых содержится призывы к «защите отечества». Такого рода аргументация ярко свидетельствует о бесправии религиозного пацифиста, который действует исходя из личных убеждений и совести.

Согласно приведенной выше аргументации, декрет от 4 января 1919 г. находится в неразрывной связи с последующими изменениями закона в 1923 году, которые ограничили право на замену воинской службы гражданской строго определенным кругом лиц. И таким образом, отсутствие законодательной основы для такого права в настоящее время якобы не противоречит существовавшему ранее законодательству. А. Сулаков обходит при этом действительные причины, приведшие к отмене этого законодательного положения. Законодательство 1923 г. ограничивало право на замену воинской службы гражданской теми сектами, которые вследствие сталинской политики прекра-

тили свое нормальное существование уже к началу 30-х годов. Отказники-меннониты или адвентисты, которые хотят восстановить изначальные пацифистские традиции своих религиозных общин, не имеют большой признанной церковной организации, которая могла бы представлять перед властями требование в духе законодательства начала 20-х годов. Право на существование всех признанных государством церквей и сект зависит прежде всего от того, что они предписывают своим членам исполнение всех гражданских обязанностей в предусмотренной существующим законодательством форме.

В. А. Шелков, председатель Всеобщей церкви истинных и свободных адвентистов седьмого дня, с 1954 г. и до своей смерти в заключении в 1980 г. защищал свой взгляд на отделение Церкви от государства и на значение декрета от 4 января 1919 г. в многочисленных подпольных публикациях. Для него Советское государство является «нечистым государством», ибо оно навязывает гражданам атеистическое мировоззрение. Таким же «нечистым» было практиковавшееся ранее принуждение к католической и православной государственной религии. Этому принуждению он противопоставляет идеал «чистого государства», в котором государство ограничивает себя необходимой защитой порядка и закона, воздерживаясь от любого вмешательства в религиозные дела. Все религиозные и атеистические группировки должны быть независимыми по отношению к государству. Несмотря на свое теологическое мировоззрение, противоречащее марксистскому учению, он усиленно подчеркивает свое полное согласие с ленинским пониманием отделения Церкви от государства. Право на отказ от воинской службы по религиозным мотивам, как его признал Ленин в декрете от 4 января 1919 г., он рассматривает как логическое следствие этого принципа: государство не должно никого принуждать к действиям, которые противоречат совести и религиозным убеждениям личности. Анонимная подпольная публикация, написанная, по-видимому, тем же В. А. Шелковым, содержит критику вышеизложенной интерпретации декрета Сулаковым: «Но проблема поставлена недвусмысленно: является ли отказ носить оружие по религиозным убеждениям преступлением или нет? Может ли такое поведение подвергаться уголовному преследованию? Является ли такая позиция враждебной отечеству или преступной? В. И. Ленин отвечал: Нет! Это не преступление! Это не должно преследоваться в судебном порядке! (...) И мы, граждане с религиозными убеждениями, говорим вместе с Лениным «Нет!». Если сегодня, в мирное время, гражд-

данн с пацифистскими, ненасильственными убеждениями подвергается суду и тюремному заключению, то это противоречит словам Ленина, ибо здесь он преследуется только из-за своих религиозных (и аполитических) убеждений (...). Значение декрета от 4 января 1919 г. заключается в том, что в нем государство стремилось действительно по-социалистически решить проблему свободы совести и религиозных убеждений для всех советских граждан. Декрет имел также моральное и политическое значение, так как он усиливал доверие верующих трудящихся, прежде всего крестьян, к политике правительства в отношении к церкви (...). Автор (Сулаков — Б. К.) пишет, что декрет действовал «лишь до 2 августа 1926 г. Эту дату следует запомнить». Да, и в самом деле следует. Но этому автору надо напомнить о том, что не товарищ Ленин (он уже умер к этому времени), а другие товарищи отменили декрет (...). Давайте проследим, что говорил Ленин, когда он предлагал принять этот декрет: «Я уверен, — читаем мы, — что этот декрет не будет действовать долго. (...) Время проходит, люди успокоятся, когда увидят, что Красная Армия не применяет больше насилия... На промежуточный период мы должны принять этот декрет, чтобы успокоить и удовлетворить тех, кто уже перенес ужасающую преследования и страдания от царского правительства». Это сказал Ленин. В его речи подчеркнуто, что ему приходится употреблять все свое искусство убеждения, чтобы переубедить атеистически настроенных членов Совнаркома (...). Другими словами, присутствовавшие члены Совнаркома еще не усвоили гуманистическую точку зрения В. И. Ленина, не смогли они этого сделать и позже; а сегодня это относится к таким людям, как Сулаков и другие, как это видно из их сочинений (...). Ленин сказал, что декрет не будет действовать долго. По его мнению, это должно было зависеть от самой жизни, от конкретных фактов, от результатов воспитательного процесса, для которого, по мнению Ленина, потребуются год и даже десятилетия. Он верил, что число отказников от воинской службы будет сокращаться со временем. А это означает, что декрет должен был существовать до тех пор, пока он нужен на практике, а именно, до тех пор, пока остаются еще убежденные верующие, отказывающиеся от воинской службы (...).

Далее автор этой статьи отвергает утверждение Сулакова о том, что руководство адвентистской церкви уже в 1924 г., то есть до отмены декрета, отказалось от своих позиций по вопросу об отказе от воинской службы. Это случилось лишь в 1928 г. под сильным нажимом власти.

В баптистских кругах тоже продол-

жаются дискуссии относительно права на отказ от воинской службы. В статье, посвященной дискуссии о новой конституции СССР, Г. П. Винс и Г. К. Крючков, члены незарегистрированного Совета церквей евангельских христиан-баптистов, ссылались в 1965 г. на выработанные при Ленине принципы церковной политики. Свобода совести в этических вопросах, например при отказе от принесения присяги и от воинской службы, должна быть восстановлена. Для иллюстрации первоначальной большевистской концепции отделения церкви от государства оба автора цитируют воззвание В. Д. Бонч-Бруевича от 1904 г. ко всем сектам, угнетаемым царизмом, в котором он провозглашает неограниченную свободу религии как одну из целей грядущей революции.

В начале этой статьи я говорил об отношении большевиков к пацифизму и к демократическим правам пацифистски настроенных граждан под углом зрения истории возникновения и проведения в жизнь декрета от 4 января 1919 г. в качестве центральной проблемы. Во всех обрисованных выше дискуссиях об актуальности этого декрета в центре внимания стоит тот же вопрос: такие авторы, как А. Сулаков, В. А. Шелков, Г. К. Крючков и Г. П. Винс спорят о том, можно ли говорить о преемственности между сегодняшней военной и церковной политикой и первоначальной большевистской концепцией социалистической демократии и пацифизма. Выше я указал на разнобразные моменты перерыва в преемственности государственной политики до и после установления власти Сталина. Они относятся, в первую очередь, к мотивам терпимости или, соответственно, репрессивности в политике по отношению к пацифизму: для таких большевистских вождей, как Ленин и В. Д. Бонч-Бруевич терпимость по отношению к пацифистским сектам могла укрепить социальный базис нового режима, в то время как сталинское правительство, наоборот, рассматривало экономические и культурные достижения этих религиозных общностей как угрозу. Следующее различие заключено в типе политики по отношению к пацифистским сектам: большевистское руководство сразу же после Октябрьской революции пыталось поддерживать «добрососедские отношения» с пацифистскими сектами. Но со времени укрепления власти Сталина в Советском Союзе уже не было речи о такого рода позитивном отношении к пацифистским сектам; начиная с 1944 г. было допущено некоторое оживление немногих крупных сект, но одновременно усилился государственный контроль во всех церковных и политических вопросах, в том числе и по отношению к отказникам от воинской службы. Третье различие основывается на новой интерпретации Ста-

линым ленинской теории идеологии: применение Лениным этой теории к пацифизму, которое раньше разъяснялось на примере критики Льва Толстого, теперь служило тому, чтобы подорвать политику терпимости. В соответствии с этим, идеологические представления пацифистов отражают отсталость общественного развития и должны отмереть в результате преобразования общественных отношений. Репрессии в этом случае излишни. Сталинское применение теории идеологии к пацифизму служило противоположным целям: узакониванию политики репрессий. Он утверждал, что религиозный пацифизм не только отражает реакционные тенденции, но и укрепляет их. В соответствии с этой идеологией, новая социалистическая организация общества требует преследования всех пацифистских течений.

Несмотря на существенные различия такого рода между «ленинизмом» и «сталинизмом», нельзя не видеть того факта, что введенные при Ленине государственные органы и институты ни в коей мере не могли оказать противодействие сталинской политике. В связи с пацифистскими сектами ленинские воззрения на социалистическую демократию даже давали в руки Сталину идеологические аргументы в его церковной политике. Ниже я вкратце разъясню это.

Согласно ленинской концепции 1918 г., после социалистической революции государственная власть должна принадлежать организован-

ному авангарду рабочего класса большевистской партии. Те, кто готов был поддерживать «добрососедские отношения» с большевистским правительством и не ставить под вопрос претензии большевиков на власть, могли рассчитывать на благожелательность государства. Необходимость и форма этой терпимости должны были определяться с «деловой точки зрения». Партийную и правительственную политику большевиков Ленин идентифицировал с сознанием рабочего авангарда и общими интересами рабочих и крестьян. Он априори исключал возможность того, что социальные и политические привилегии государственного аппарата окажутся препятствием на пути такого рода гармонизации интересов и вследствие этого пренебрегал конституционными и другими институциональными гарантиями прав религиозных меньшинств и пацифистских групп перед возможным насилием со стороны государства. Во внутрипартийных дискуссиях, которые Ленин рассматривал как достаточную гарантию проведения партийной линии в соответствии со всеобщими интересами, правительственная политика по отношению к пацифистским течениям рассматривалась как всего лишь побочная проблема: сторонники политики терпимости по отношению к пацифистским сектам из числа большевиков исходили не из непосредственных интересов самих этих сект, а из степени их полезности для развития производительных сил и кооперативных экспериментов. Зна-

чение в этих дискуссиях имели только преимущества трудолюбивых и добросовестных крестьянских сект для развития сельского хозяйства. И таким образом судьбы советского пацифизма оказались в зависимости от общих сельскохозяйственных приоритетов. Политика репрессий оправдывалась на том же уровне аргументации: усиливающееся выхолащивание права на отказ от воинской повинности с конца 1920 г. и проводившаяся со второй половины 20-х годов репрессивная церковная политика обосновывались правом большевиков на власть и так называемыми «деловыми соображениями», но при этом монополия большевистской партии на власть, сложившаяся уже при Ленине, исключала какую бы то ни было открытую дискуссию по вопросам церковной политики.

В заключение остается лишь констатировать, что существуют как преемственность, так и разрыв между ранней политикой большевиков и сталинистской политикой по отношению к пацифистским сектам. Принятие декрета от 4 января 1919 г., признававшего даже полный отказ от воинской повинности на основании религиозных убеждений, следует рассматривать как демократическую меру на фоне противоречивой и даже непоследовательной политики большевиков по отношению к религиозному пацифизму. При Сталине этой непоследовательности был положен горький конец.

Перевод Ларисы Лисюткиной

# ОКСЮМОРОН

(заметки носителя языка)

... Когда асы начали опасаться, что не связать им чудовищного волка, Один повелел подземным карликам изготовить новые путы. Эти путы звались Грейпнир, и было в них соединено шесть сутей: шум кошачьих шагов, женская борода, корни гор, медвежья жила, рыбае дыхание и птичья слюна. Любой знает, что нет корней у гор, не бывает женской бороды и что неслышно бегают кошки. Чудесные путы, тем не менее, были изготовлены, и волк не в состоянии был из них вырваться.

Этот скандинавский миф невольно

приходит на ум, когда размышляешь над процессами, происходящими в современном языке. Сознание древнего германца до такой степени пассивало перед невозможностью, неожиданно обретающей существование в языке, что было склонно приписывать новой сущности магические свойства. Нам его понять трудно. Кажется, нет такого сочетания слов, которое бы нам показалось логически невозможным. Если, скажем, для пушкинского современника «Зима! крестьянин, торжествуя» представляется стилистической нелепицей<sup>2</sup>,

## ЮРИЙ КАГАРЛИЦКИЙ

Но вот собственность уничтожена, и начинается спазматический процесс дележа награбленного. Как пустить его в более или менее пристойное русло? На помощь приходит другая фигура речи — оксюморон: все объявляется «общественной собственностью»... Грамматическая и логическая бессмысленность выражения «общественная собственность» не отменяет его порядочной поэтической силы.

(Г. Гусейнов, Д. Драгунский)<sup>1</sup>

то в нашем современном быту можно услышать и не такое. Но пригладимся к обыденной речи. Она изобилует приемами оксюморона и катахрезы<sup>3</sup> — явлениями, соединяющими в тексте несоединимое в жизни. Я хочу здесь поставить вопрос об оксюмороне как культурно-психологическом феномене. Ведь «сочетание контрастных по значению слов» создает «новое понятие или представление». Это понятие тревожит воображение, порой пробуждает внезапную надежду, порой заставляет заткнуться оппонентов.

Наша речь содержит в себе словосочетания, давно утратившие облик оксюморона, хотя образованные некогда по этому принципу. Мы говорим: «живой труп», «красноречивое молчание», «общественная собственность» — и уже не всегда ощущаем поэзию противоречия. Но в смысловом отношении эти выражения по-прежнему связывают противоречивые понятия — рождают новые представления и понятия, разрешают средствами языка проблемы, возникающие в жизни. «Живой труп» — совмещение несовместимого, создающее образ человека, внешне живого, но внутренне уже мертвого. Мне не хочется сейчас говорить об оксюморе как литературном приеме. Есть иная сфера приложения этой стилистической фигуры — язык политиков и общественных деятелей. Об этом и хочется поразмыслить. Толчком для этих раздумий послужили заметки Гасана Гусейнова и Дениса Драгунского<sup>4</sup>. Рассмотрев оксюморон «общественная собственность», они показывают, как соединенные в тексте противоположности имеют волшебную власть над массовым сознанием. Но, если мы хотим понять природу этой власти, надо изучить психологический импульс, рождающий фигуру оксюморона.

Что такое всем нам привычный язык? Прежде всего — это сфера нерализованных возможностей. По крайней мере, любое неосуществившееся явление вряд ли может существовать вне языка. Он — и только он — придает форму смутно осознаваемой нами альтернативе. В нем возможно все. Можно сказать: «Александр Великий не смог осуществить цели индийского похода». Можно: «О если бы индийцы признали Александра Великого богом!» — а можно: «О если бы я жил в эпоху Александра!» Эти фразы абсолютно равноправны с точки зрения законов языка.

Неизъяснимая прелесть таится в своеобразной автономии слова: оно подчиняется только законам грамматики. Это роднит язык с утопией, которая подчиняется только законам разума. И это родство не случайно. В самой природе языка заложен утопический «вызов настоящему», содержащий в себе «не усовершенствование сущего, а его альтернативу»<sup>5</sup>. Разве обыденная речь не вызов реальности? Разве не полна она сожалений о прошлом и пожеланий на будущее? Если б, да кабы, да во рту б росли грибы — вот ее всегдашнее, повседневное содержание. Предоставьте ей свободу, и она сама родит утопию.

«Ты в каком времени хочешь жить? — спрашивал Осип Мандельштам в начале тридцатых годов. — Я хочу жить в повелительном причитии будущего, в залоге страдательном — в «долженствующем быть»<sup>6</sup>. Трудно с большей простотой и твердостью

выразить пафос творчества, постоянно обращенного в будущее. Но нашлись люди, которые захотели поселить в пресловутом глагольном времени других. В их практике так и повелось: текст становился на место действительности. Они создавали некий новый язык, оруэлловский «новояз», где задача слова «не столько в том, чтобы выражать значения, сколько в том, чтобы их уничтожать». Слова, теряя значения, оказывались связанными не смыслом, а грамматикой. Вызов реальному миру, задуманный в утопии, состоялся и обрел форму: язык против действительности.

И теперь нам становится ясной роль оксюморона. В окружающем мире полным-полно противоречий. Рано или поздно они разрешаются, у действительности есть на это свои пути. Оксюморон же есть преодоление **реального** противоречия средствами языка. Это явная претензия на господство над действительностью, на способность языка решать проблемы, свойственные действительности. Приняв оксюморон, сознание хоть на мгновение отказывается от законов окружающего мира в пользу законов драматических. Попробую на примере политической демагогии начала тридцатых годов пояснить мою мысль.

Государственная идеология тяготела к образованию устойчивых сочетаний слов, таких, как «коллективное хозяйство», «партийная учеба», «пролетарская культура». Многие из таких сочетаний превращались в сокращенные слова — эпоха обрела свой «телеграфный» стиль. Если бы с таким языком ознакомился Снорри Стурлусон, он бы, вероятно, сравнил его с системой древнеисландских кеннингов (так назывались словосочетания, обозначающие какое-либо слово не прямо, а через ссылку на общеизвестный факт или миф)<sup>7</sup>. Только в нашем случае слова стремительно теряли свой смысл, и самый миф, благодаря которому они были рождены, предавался забвению. «Слова «Коммунистический Интернационал», — писал Джордж Оруэлл, — приводят на ум сложную картину: всемирное человеческое братство, красные флаги, баррикады, Карл Маркс, Парижская коммуна. Слово же «Коминтерн» напоминает всего лишь о крепко спянной организации и жесткой системе доктрин»<sup>8</sup>. Сложносокращенные слова становились штампами, в рамках которых действовало массовое политическое мышление.

В такой ситуации неожиданно возникающий оксюморон производит минутный шок. Сознание, привыкшее автоматически реагировать на штампы, здесь дает осечку. Привыкнув, что где-то есть правый уклон и левый уклон, оно не сразу может осмыслить, что бывает «право-левацкий уклон». Но постепенно это словосочета-

ние тоже становится идеологическим клише — а чем бы это ему еще быть? — с одним условием: в сознании, пусть на мгновение, разорвана смысловая связь и утверждено механическое слияние слов с произвольным значением. Случается то, что можно назвать торжеством грамматики.

Здесь я допустил определенное упрощение. Окончательное превращение слов в клише невозможно, как невозможно полное превращение человека в пресловутого «хомо советикус». Оксюморон возникает в речи как мгновенный хаос — своеобразный «атом хаоса». Сознание страшится хаоса, но никогда не утрачивает страх полностью в устраняющем беспорядок торжестве грамматики. Ему предстоит вечно мучиться, произнося сочетания, подобные «врачу-убийце» или «право-левацкому уклону», и грамматический рай будет служить ему лишь внутренним оправданием, опорой в этих муках. Единственное оправдание — это: так можно сказать. Язык не ломается, произносятся невероятное; как заметил сатирик, ложь отличается от правды только тем, что не является ею. Возможность ослабить страх, выразить немыслимое в словах разрешает спор в пользу грамматики, хотя и не устраняет страх полностью. Этот оставшийся страх не зависит от репрессивного аппарата и тотальной слежки; он целиком вызван трагичностью человеческого существования в идеологизированном обществе.

Вернемся в царство политической демагогии 30-х — 50-х годов XX столетия. Мне хочется проследить, как рушится привычный автоматизм мышления, как распадается обыденный мир и на его место приходит грамматическое безумие.

Сознание веками вырабатывает свои стереотипы. От каждого явления у нас остается некий обобщенный образ, скажем: «врач», «шарлатан», «мошенник», «враг», «убийца». Мы легко используем их в речи, не задумываясь над их смыслом. Именно поэтому «врач-убийца» ошеломляет своей непостижимостью. Заново пережив значения слов «врач» и «убийца», мы отказываемся их ставить рядом. Из этого тупика есть два выхода: либо сознание со словами «Не может быть!» возвращается к обыденности, либо признает, что существует то, чему есть место в языке, — а привычные значения слов не имеют веса! И если мы не в силах принять такой взгляд на вещи, то нам суждено постоянно чувствовать свою вину за неспособность отрешиться от смысла и вверить себя грамматике.

Это можно рассмотреть и с другой стороны. Существует повседневное мышление. По своей сути оно консервативно, как Фамусов, и склонно к авторитарному подавлению вся-

кого инакомыслия. Отрицая реальность «врача-убийцы», мы исходим не из фактов и не из рассуждений. Оксюморон здесь конфликтует со стереотипами обыденности. Если стоять на позициях логики, то надо не доверять и не сомневаться, а завести уголовное дело. Но массовое политическое сознание никогда не мыслит в логических категориях. Там, где на взгляд рационального исследования открывается простор для беспристрастного анализа, это сознание видит хаос (как мы договорились писать, атом хаоса), из которого имеется два выхода. Первый ведет назад, во власть стереотипа и авторитета, многократно осмеянную и обличенную. Второй — вперед, в кошмарный мир будущего, где царствует грамматика.

Нетрудно видеть, что моя позиция имеет много общего с позицией Оруэлл: «Есть несколько коренных различий между тоталитаризмом и всеми ортодоксальными системами прошлого, европейскими, равно как и восточными. Главное из них то, что эти системы не менялись, а если менялись, то медленно. В средневековой Европе Церковь указывала, во что верить, но хотя бы позволяла держаться одних и тех же верований от рождения до смерти». И далее: «Тоталитаризм означает прямо противоположное. Особенность тоталитарного государства та, что контролируя мысль, оно не фиксирует ее на чем-то одном»<sup>9</sup>. Иначе говоря, слова вступают в различные отношения вне зависимости от их смысла. Здесь можно обозначить путь перехода от нашей частной проблемы к общей теме тоталитаризма власти. Думается, что этот переход существенно сложнее, чем представлено в моих кратких заметках. Но и думается также, что постановка вопроса должна быть именно такова.

Современное сознание и бежит утопии, и жаждет ее. Но если бы меня попросили одной фразой охарактеризовать идейный стержень сегодняшней утопии, я бы, пожалуй, ответил: «Стремление разрешить противоречия сего мира средствами, лежащими за его пределами». Как пра-

вило, это выливается в то, что Н. А. Бердяев назвал «ложными формами социальной мистики»<sup>10</sup>. Человек начинает путать частное и целое, субъект и объект; например, себя и национально государственную цельность, как это часто происходит с патриотами; себя и демократическое «правовое государство», как это порой свойственно либералам. Отсюда парадоксы нашей общественной жизни, когда не хотят признать реально существующей групповой борьбы, когда видят себя в слиянии с неким мистическим целым, которому противостоит мистическое зло в виде конкретного политического противника.

Казалось бы, что может лежать за пределами мира сего, кроме Бога? Но горе мне! Не к Богу приходят наши сегодняшние «социальные мистики». Они пытаются разрешить противоречия средствами языка. Оксюморон выходит теперь в нашей речи на первый план. Как примирить в массовом сознании стабильный «план» и обильный «рынок»? И рождается «планово-рыночная экономика». Ее еще нет, но она уже как бы есть. Ее нет в жизни, но есть в языке. Хозяйство агонизирует, а сердце спокойно. И снова, как встарь, грамматика противопоставлена смыслу.

Я не обсуждаю вопрос об истинности или ложности каких-либо концепций. Не хочу сказать, что любой оксюморон обозначает фальшивое понятие. Я предлагаю рассмотреть слово не как образ реальности, а «как своего рода машину, обрабатывающую сознание»<sup>11</sup> носителя языка. Как я уже указывал, само по себе сочетание «врач-убийца» не несет никакой идеологической нагрузки. Для рационального мышления этот образ нейтрален. Но не бывает чисто рационального мышления. А на более глубокие пласты сознания, где помещаются традиционные представления об окружающем мире, слово воздействует весьма активно (как — показано выше), и это воздействие принципиально не зависит от подлинности или фальшивости обозначаемого словом понятия. Стоит ли жа-

леть об этой «идеологической неразборчивости» языка?

«Ужасно подумать, — пишет Фазиль Искандер, — что механизм кристаллизации идеи может быть один и тот же у палача и поэта, подобно тому, как желудок людоеда и нормального человека принимает еду с одинаковой добросовестностью. Но если вдуматься, что кажется равнодушием природы человека, есть следствие ее высочайшей мудрости.

Человеку дано стать палачом, так же как и дано не становиться им. В конечном итоге выбор за нами.

И если бы желудок людоеда просто не принимал человечины, это был бы упрощенный и опасный путь очеловечивания людоеда»<sup>12</sup>.

Если говорить об оксюмоне, его одинаково успешно используют палачи и поэты. Поэт тоже стремится вывести мысль из автоматического режима. Он хочет заставить нас воспринимать слова как полновесные образы реальности:

Их протирают, как стекло, —  
И в этом наше ремесло<sup>13</sup>.

Его речевая задача прямо противоположна речевой задаче политика. Всем известно, что поэт и тиран не уживаются друг с другом. Но я бы поставил вопрос следующим образом: есть ли что-то, что роднит литературу и тоталитарную идеологию? Случайно ли политик подхватывает порой выпавшую из рук поэта лиру? И, несмотря на обилие разнообразных цитат в тексте моих заметок, хочется закончить их опять-таки цитатой:

Эта видимость смысла в стихах  
современных советских поэтов —  
свойство синтаксиса  
свойство великого русского  
языка

управлять государством;  
и ты  
не валяй дурака:  
пока  
цел,  
помни об этом!<sup>14</sup>

<sup>1</sup> Гасан Гусейнов, Денис Драгунский. «Русский язык о советской экономике». — Век XX и мир, № 2, 1990 г., стр. 17—18.

<sup>2</sup> «Столкновение церковнославянского «торжествовать» и «крестьянин» побудило критиков сделать автору замечание: «В первый раз, я думаю, дровни в завидном соседстве с «торжеством». «Крестьянин, торжествуя» выражение неверное» («Атеней», 1828, ч. 1, № 4). — Ю. М. Лотман. «Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий». — Л., «Просвещение», 1983, стр. 258.

<sup>3</sup> «Оксюморон... — стилистическая фигура, сочетание контрастных по значению слов, создающих новое понятие или представление, например, «сухое вино», «честный вор», «свободные рабы» и т. п.» «Катахреза... — сочетание противоречивых, но не контрастных по природе слов, понятий, выражений, вопреки их буквальному значению...» — А. Квятковский. «Поэтический словарь». — М., «Советская энциклопедия», 1966, стр. 181 и 131.

<sup>4</sup> Гасан Гусейнов, Денис Драгунский. Цит. соч., стр. 17—18.

<sup>5</sup> «... особый... импульс социальной утопии — рациональный взгляд настоящему, не усовершенствование сущего, а его альтернатива». Так характеризует утопию В. А. Чаликова в предисловии к реферативному сборнику «Социокультурные утопии XX века». Выпуск 6 — М., ИНИОН, 1988 г., стр. 13.

<sup>6</sup> Осип Мандельштам. «Путешествие в Армению» — В кн.; Осип Мандельштам. Стихотворения. Проза. Записные книжки. — Ереван, «Хорурдаин грох», 1989 г., стр. 59.

<sup>7</sup> Подробнее о кеннингах см. например: Младшая Эдда (изд. подг. О. А. Смирницкая и М. И. Стеблин-Каменский). — Л., «Наука», 1970 г., стр. 56—98.

<sup>8</sup> Джордж Оруэлл. «1984». — В кн.: Джордж Оруэлл. «1984» и эссе разных лет. — М., «Прогресс», 1989, стр. 205.

<sup>9</sup> Джордж Оруэлл. «Литература и тоталитаризм». — Там же, стр. 245.

<sup>10</sup> О «ложных формах социальной мистики» Н. А. Бердяев писал в последней главе своей книги «Царство Духа и царство кесаря». — В кн.: Николай Бердяев. Судьба России. — М., «Советский писатель», 1990, стр. 327—334.

<sup>11</sup> Ю. Шрейдер в своей статье «Сознание и его имитации» приводит формулировку А. К. Жолковского, содержащую такой подход к литературному произведению. — Новый мир, 1989, № 11, стр. 249.

<sup>12</sup> Фазиль Искандер. «Сандро из Чегема». — Знамя, 1988, № 9, стр. 63.

<sup>13</sup> Строки из стихотворения Давида Самойлова.

<sup>14</sup> Стихотворение Яна Сатуновского. — Новый мир, 1990, № 2, стр. 111.



Односельчане и сверстники Павлика Морозова, собравшиеся на месте убийства через 35 лет (1967). Слева направо: двоюродный брат, освещитель Иван Потупчик, Елена Ростовщикова (Павлика не учила, но пишет о нем воспоминания); Мать героя Татьяна Морозова; Елена

Позднина, учительница (с девочкой); Михаил Селиверстов, односельчанин, рабочий; одноклассница Павлика Матрена Королькова, другая одноклассница Анна Ермакова. Двое справа — неизвестные. Все приняты в почетные пионеры. Большинство сейчас нет в живых.

## ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ ВОЗНЕСЕНИЕ ПАВЛИКА МОРОЗОВА

### ПАЛОМНИЧЕСТВО В ГЕРАСИМОВКУ

После двух судебных процессов, расстрела и последующих арестов из большой семьи Морозовых осталась в деревне мать Павлика с младшим сыном Романом. Двое ее детей были убиты, четвертого, Алексея, она сама сдала в детский дом. В газетах Татьяна Морозова значилась Матерью Героя — привилегированная должность в советской стране. Как бы ни оценивали мы поступки Павлика, для матери он остался сыном. А она потеряла тогда двоих. И мертвых она любила их до конца своих дней. Это свято.

О том, что происходило тогда в Герасимовке, мать Павлика помнила хорошо и охотно нам рассказывала. Всенародная любовь к герою, о которой писали газеты, в рассказе этом выглядела не столь рекламно: «Врагов у Павлика было много. Могилу его затапывали, звезду ломали, полдеревни ходило туда испражняться».

Смерть ее сыновей была только началом. На Голгофу матери еще предстояло взойти. Через месяц после похорон, по случаю 15-летия Октябрьской революции, власти организовали в деревне большевистские поминки по убиенным детям. Манifestация (Окончание. Начало в № 4)

протекала жизнерадостно, в соответствии с особой ролью убитых детей. Миф, созданный наверху, пришел в деревню и начал вытеснять реальность. «Оживилась изба-читальня от веселого гомона и песен ребят», — бодро писал журналист Соломеин в «Пионерской правде», назвав статью «На свежей могиле». Вместе с двумя женщинами в сельсовет вошла Татьяна Морозова, худая, постаревшая от переживаний мать Павлика». На столе венки. Ребята поют, веселятся, с готовом идут гулять на кладбище. Там, возле могилы, заранее сколочена трибуна. С нее приезжие представители произносят речи о подвиге пионера Морозова и кулаках-убийцах. «Небольшой курьез, — читаем далее, — результат культурной отсталости и неграмотности матери Павлика — Татьяны Морозовой. Тела Павлика и Феде Морозовых, конечно, хоронили без попа. На могиле — красная звезда и траурное знамя с надписью: «братская могила братьев Морозовых». А напротив... стоит крест... Татьяна Морозова понимает, что кулак — «злой человек», но вера в бога, подкрепленная советами набожных соседок, крепко засела в сознании обезумевшей от горя матери». Газета требовала: «Не плакать, а еще больше сплотиться вокруг партии». Морозову переселили в большой

дом, хозяев которого перед этим арестовали. Она получила часть кулацкого имущества, но в Герасимовке ее ненавидели, оскорбляли. Крестьяне возлагали на Татьяну вину за воспитание ребенка, который причинял столько горя деревне. Привилегии, ей созданные, еще больше озлобили людей. Из деревни ей пришлось переехать в районный центр. «Меня НКВД взял на казарменное обеспечение, — вспоминала Морозова. — Дали комнату, кровать, две подушки, продукты. Я как Мать Героя не работала».

Неприязнь к матери Павлика Морозова сохранилась в Герасимовке и через полвека, мы ее почувствовали, но выражается она сдержанней.

Учительница Кабина вспоминает: «Татьяне дали квартиру на улице Сталина, освободившуюся после высылки врагов народа. Мебель, тюлевые занавески, белье, одежда — все это было чужое, а стало ее. Ей такое и во сне не снилось. Люди везде голодали, а ей выдавали в ОГПУ хорошие продукты, сладости. Сына ее, Алексея, отправляли каждое лето в пионерский лагерь «Артек». Об этом писали и газеты: правительство позаботилось о матери Героя, ей назначили пожизненную персональную пенсию, и врачи предложили переехать жить на курорт в Крым. Говорили,



Брат Павлика Морозова Алексей, обвиненный в шпионаже, ныне пенсионер, на юбилее героического подвига в Герасимовке.



Павлик Морозов, сын Алексея, «внук героя», рабочий. 1981



что Сталин лично распорядился позаботиться о ней. Но она умела и сама требовать. Входила и заявляла: «Я, мать героя-пионера...» И отказать боялись.

В Крыму еще существовала татарская автономия, но уже выселяли греков и немцев. Воронцовский дворец в Алупке стал правительственной дачей. В округе шла чистка кварталов, и освобожденные дома заселяли доверенными людьми. Здесь, на южном берегу, Морозова прожила до конца дней.

Третий ее сын, Роман, был в конце войны ранен, умер дома у нее на глазах, и она осталась одна. Судьба не была к ней милосерднее, чем к другим, скорее, наоборот: ведь единственный оставшийся в живых Алексей, который с нею вместе показывал на суде на дедушку и бабушку, требуя их расстрелять, этот ее сын тогда сидел в тюрьме. Вот что писал о родном брате Павлика заведующий отделом культуры райисполкома Фомин писателю Соломеину в уже цитированном нами письме: «Алексей Морозов сидел с 1941 по 1951 год. Осенью 1951 года освобожден. Работает в городе Нижний Тагил на заводе. Сидел за измену Родине (не выполнил задания командования)». «Алексей был приговорен военным трибуналом к расстрелу, — вспоминает крестьянка Беркина, — но мать за него хлопотала, и, как брату героя, расстрел ему заменили на десять лет».

Причины ареста Алексея Морозова не ясны. Он окончил летное училище.

В его воинской части были свои Павлики Морозовы, могли донести на невиновного. Крестьянка из Герасимовки, тетка Алексея, Беркина, к которой он приезжал с женой и сыном после освобождения, рассказала, что ее племянник напился перед боевым вылетом. Ей он сказал, что его тогда подпоили и что с тех пор он не пьет. Родственник же его Байдаков, отсидевший по статье 58-й, рассказывал нам, что повстречался с Алексеем в тюрьме. В летной части Алексея не любили за то, что он требовал особого положения, как брат героя-пионера. Товарищи по части напоили его, а когда он заснул, положили ему за голенище сапога как криминальный материал фотопленки с изображением линии фронта. После этого вызвали представителя СМЕРШа — военной секретной полиции.

Тот факт, что брат пионера-героя отсидел десять лет за шпионаж, тщательно скрывается советской печатью. В наши дни Алексей — молчаливый трудолюбивый человек. Вспоминать о старом не хочет. Два года отработал грузчиком на вредном химическом производстве, чтобы получить пенсию побольше. Сын Алексея назван в честь убитого дяди-героя Павликом — пятое поколение известных нам Морозовых. Он отслужил в армии, где потерял зубы, находясь во вредной зоне, и стал работать слесарем на заводе. Павлик Морозов-младший женился, о чем сообщалось в печати, и вскоре развелся, о чем печать умолчала. «Так теперь моло-

дые живут», — сказала нам Татьяна Морозова, осуждая мораль нового поколения. А Павлик — жизнерадостный молодой человек, живет в свое удовольствие, любит выпить с приятелями, учиться не хочет, из кинофильмов предпочитает иностранные и, в отличие от своего знаменитого дяди, не собирается доносить на родителей и соседей.

Седая старушка в цветастом халате и пестром платке встретила нас в комнате, похожей на запасник провинциального музея. На стенах, на шкафу, на столе и на комод — портреты и бюсты разных размеров ее знаменитого сына-героя. Тут же бюсты Ленина и писателя Антона Чехова, который умер неподалеку в Ялте. А между портретами Павлика — иконы.

Живут оставшиеся Морозовы в уютном доме на горе, омываемой Черным морем. Вокруг, за высокими заборами, стоят санатории и роскошные виллы для советской партийной элиты. Наследники Морозовых вернулись к тому, с чем сверстники Павлика боролись полвека назад — к скромному предпринимательству. Летом они сдают отдыхающим свой домик и сарайчики вокруг. Это приносит неплохой доход. 22 августа 1956 года, в пору послесталинских разоблачений, в «Курортной газете» Крыма появилась статья. «Бабушка Морозиха», говорилось в ней, скупает по дешевке фрукты и продает на рынке втридорога, спекулирует. Газета призывала «сделать выводы». Но власти дело это замаяли.



Мать Павлика Татьяна Морозова в своей комнате. Крым, Алупка, 1981.

«Никто ко мне не едет, — жаловалась Татьяна Морозова в наш последний приезд, — никому я теперь не нужна. Письма приходили раньше по пять, а то и восемь в день. А сейчас мало писем. Пишут дети глупости: «Дорогая Таня, в каком ты классе? Давай с тобой переписываться». А мне-то скоро девяносто!»

До последних дней (она умерла в 1983 году) мать пионера 001 сидела в президиумах идеологических мероприятий — живой образец преданности делу коммунизма. На нее под аплодисменты надевали пионерский галстук. Единственная трудность наступала, когда надо было выйти на трибуну. «Будьте такими, как мой Павлик!» — произносила неграмотная женщина и умолкала, не умея прочесть текст, который ей заготовили и сунули в руку комсомольские лидеры. Периодически мать героя, соучеников и родственников Павлика власти приглашали на различные торжества в Герасимовку, куда для массовости собирали население всей округи.

Колхоз носит имя Павлика Морозова по сей день. На его примере можно видеть достижения коллективизации. После убийства Морозова в колхоз записались пятеро. Через два года колхоз организовался еще раз, и в него вошли семнадцать крестьян. К 1937 году в колхоз вступил еще

один человек. А в 1941 году стало 50 членов колхоза. Между тем на длинной Герасимовской улице было 104 двора. Выходит, что к тому времени, когда советская власть торжественно праздновала четверть века своего существования, половина Герасимовки оставалась единоличной.

«Кулаков у нас вообще не было, — говорила нам крестьянка Вера Беркина. — Но стало много активистов, которые хотели не работать, а жить за счет других. Они, бывало, выселят кого-нибудь из деревни по доносу, а потом сами разоряют его дом. Гуляют, все выпьют, съедят и расходятся по своим избам, опять становятся активистами. Выслали бы из деревни и больше, да у нас самый бедный имел корову, а самый богатый — две коровы. На всю Герасимовку было девять самоваров, а дети и скотина зимой находились в избе вместе и ели из одного корыта».

Разорение 30-х годов усугубилось почти полным отсутствием мужчин в войну и после нее. Заведующий районным отделом культуры Фокин в письме сообщал Соломону: «Колхоз экономически слаб, трудоспособных колхозников мало. Урожай получает низкие. Продуктивность общественного животноводства также низкая, посевы колхоза в течение нескольких послевоенных лет подвергались вымоканию. Это обстоятель-

ство и подорвало экономику колхоза». Нет, не это обстоятельство подорвало экономику, и не только колхоза, но всей России.

Разоблачая кулаков, якобы разоряющих деревню, журналист Смирнов писал в «Пионерской правде», какой была Сибирь до революции: «А рынок был большой, богатый. Отсюда шла за границу первосортная пшеница, лучшие сорта масла, сыров, меха, кожи». В год смерти Сталина уровень сельского хозяйства в стране был ниже дореволюционного. С тех пор, как завершилась борьба с кулачеством, мяса и масла в Сибири и на Урале не хватает. Все это теперь по талонам. Молоко дают только детям, очередь нужно занимать с пяти утра. Пшеница, как известно, идет в СССР из-за границы.

Эксплуатация колхозников в Герасимовке такая, которая и не снилась помещикам в царской России. За барщину в колхозе крестьянин получает право на участок, где может вырастить что-то на пропитание себе. Тут он работает второй рабочий день. По официальной статистике еще пять часов к девяти остальным. А живет впроголодь. В поезде мы разговорились с детским врачом из местной поликлиники. Хроническое недоедание, рассказала она, приводит к тому, что подростки здесь растут ниже городских сверстников, а смерт-

ность их от психических расстройств в три раза чаще, чем подростков в городе. Много рождается больных и умственно неполноценных.

Когда Герасимовка стала местом организованного политического пауперизма, Сталин лично, как мы уже знаем, отпускал сюда деньги. Теперь приближенные к герою люди и колхоз имени Павлика Морозова, так сказать, стригут купоны со славы героя. Его бывшая учительница с гордостью рассказала нам, что ей раз в месяц дают лишний талон на двести граммов масла. В деревню проложили асфальтированную дорогу и провели электричество. На многих домах солому сменил шифер, встали телевизионные антенны. Напротив новой могилы доносчика 001 построили кирпичную семилетнюю школу. Каменный Павлик видит на ней выцветший лозунг, зовущий строить коммунизм, светлое будущее человечества. Заборы всем в деревне велено побелить. И стоят они, все одинаковые, в подтеках от дождя. Вдоль заборов в автобусах провозят туристов в музей Павлика Морозова. До сих пор партийные чиновники, присланные сверху, командуют в Герасимовке, заставляя колхозников работать, правда, теперь уполномоченные ездят не верхом, а в служебных легковых машинах. Но хотя все церкви сожжены и разрушены до фундаментов, в домах по-прежнему иконы, а не портреты вождей или Павлика Морозова.

Стоит Герасимовка между лагерей принудительного труда, раскинутых по всему обширному пространству Урала и Сибири. Едешь поездом из Свердловска в Тавду — и часами тянутся колючие заграждения в несколько рядов, вышки. Днем и ночью сыщется лай собак. В поселках автобусы с железными решетками на окнах, без сидений, забитые изможденными зеками, обритуемыми наголо. А у задних дверей откормленные овчарки, которых держат молоденькие солдаты внутренних войск. Куда ни глянь — военные, милиция, специфические личности в штатском, с подозрением оглядывающие каждого. Страшная, бесчеловечная земля, заселенная, однако, людьми.

По-разному сложились судьбы современников Павлика Морозова. Его одноклассник Яков Юдов, который, как писали газеты, впереди всех с гордо поднятой головой нес пионерское красное знамя, исчез, скрывался от

семьи, от уплаты алиментов, стал пьяницей и был убит в драке. Одноклассница Павла Матрена Королькова работала в спецдетприемнике — доме для детей, оставшихся после арестов родителей. Мы нашли ее в Харькове. Она служила в охране, в милиции, на письма пионеров отвечать не хотела, говорила, что ей это надоело. В больнице удалось нам разыскать учительницу Зою Кабину. Писатель Губарев не встречался с ней, но уверенно писал в журнале «Молодой коммунист»: «Без преувеличения можно сказать, что это она воспитала Павлика героем». Теперь мы знаем об этом иное. Разойдясь с осведомителем Иваном Потупчиком, Кабина вышла замуж за спецпереселенца, сына кулака, и за брак с классовым врагом была исключена из комсомола. Говорят, Кабина швырнула в лицо уполномоченному комсомольский билет. Учительнице пришлось работать в магазине продавцом. Сейчас она на пенсии, благополучно живет в Ленинграде, воспитывает внуков. О прошлом она говорит осторожно, без восторга и без осуждения. Дожили на почетных пенсиях до середины 80-х годов помощник уполномоченного ОГПУ Спиридон Карташов и осведомитель, каратель и кадровик Иван Потупчик. Мы успели застать обоих в живых.

О людях, попавших в орбиту героя, написано немало, и в уста им вложено то, что нужно было органам власти. «Многие из героев, — возмущался Соломеин своими коллегами в неопубликованной статье, найденной нами в его личном архиве, — сейчас живут. Читают они книги и морщатся от этой лжи, которая написана в них». Впрочем, многие не морщатся, а наоборот, довольны.

Места умирающих современников прославленного героя-пионера занимают другие люди, греющиеся у его славы. Одни называют себя его учителями, хотя появились в герасимовской школе после его смерти, другие уверяют, что сидели с Павликом за одной партией. Мы посчитали по воспоминаниям и оказалось, что на двухместной парте с героем сидело около двадцати человек.

Герасимовка оставляет противоречивое впечатление. Вековая дикость и приметы нового фантазмагорически смешались. Природа тут с остатками бывлой красоты. Сказочные озера и порожистые реки отравле-

ны химией. Царственные леса — одни вырубаются, другие горят на тысячах верст. Топи, тучи комаров, заснешь — съедят живьем. Накануне нашего приезда медведь задрал в лесу корову. Не так давно крестьянин пошел ловить рыбу на озеро, заблудился, бродил по болотам тринадцать дней, еле вылез к человеческому жилью. А по лесам ходят батальоны солдат с рациями и автоматами, разыскивая и расстреливая беглыми заключенных.

В деревне школьники, одетые в джинсы, дома крутят магнитофонные пленки с музыкой рок и смеются над героем-доносчиком, а на уроках с выражением читают посвященные ему стихи. Местные газеты рассказывают, что счастливая жизнь, за которую боролся Павлик Морозов, наступила, а в автобусе, в котором мы возвращались из Герасимовки в районный центр, из-за освобожденного места подрались двое парней, лилась кровь. На остановке жены их били друг друга, матерились, в бешенстве угрожали отомстить всей семье.

О жизни односельчан Павлика Морозова рассказала нам старая крестьянка Елена Сакова, первая из тех, кто когда-то осваивал эти места: «Самое страшное у нас в деревне — пьянство: все теперь пьют, вся Герасимовка. И детей спаивают. Если водки и самогона нет, пьют одеколон и жидкость от клопов. У моей соседки, тетки Павлика Морозова, недавно сгорел в машине сын: пьяный на грузовике столкнулся с автобусом. Жертв было!.. Жена его сейчас заведует музеем. Деньги получает за героизм Павлика. Она у нас специально обучена, как правильно про этот героизм рассказывать надо. А у меня ты, сынок, коробочку на столе больше не нажимай и тетрадочку убери, ничего не записывай. За это знаешь что бывает?»

И старая крестьянка положила на столе по два пальца обеих рук крест-накрест. Теперь, после смерти Саковой, можно это опубликовать.

Москва — Свердловск —  
Герасимовка — Тавда —  
Ирбит — Первоуральск —  
Алупка — Запорожье —  
Мелитополь — Харьков —  
Львов — Ленинград —  
Магнитогорск —  
1981—1987 гг.



# «А. МАНУЧАРОВ—К. МАЙДАНЮК: ДУЭЛЬ «ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ»?

«Аркадия Манучарова завтра выпустят из Бутырок!» Звонок московского коллеги врасплох меня не застал, более того — особого оптимизма не вызвал. Не только потому, что одарили новостью накануне похорон жертв трагических событий 27 мая с. г. в Ереване. «Сенсацией» о скорейшем, немедленном освобождении А. М. неоднократно покупались все — и его родные, спешно прилетавшие в Москву, и те журналисты, для которых «дело А. М.» стало профессиональной «занозой».

В конце апреля я сам оказался соучастником «генеральной репетиции» встречи А. М. с полпредами мировой прессы (но не советской — точно так же произошло три года назад на перроне Ярославского вокзала, когда из Горького в Москву вернулся А. Д. Сахаров — лишь Ю. Рост («Литературная газета») осмелился приехать туда для выполнения своего профессионального долга) у ворот Бутырской тюрьмы. «Отбой до лучших времен!» — с грустью и возмущением сказала мне народный депутат СССР и РСФСР Галина Старовойтова, возглавившая после смерти Андрея Дмитриевича Сахарова широкомасштабную и настойчивую кампанию за освобождение из-под стражи А. М., вторично избранного членом парламента Армении за полтора года пребывания в трех следственных изоляторах страны.

Много дал бы за то, чтобы узнать имя Великого Режисера человеческих драм, невольным зрителем которых я оказался на исходе тяжело пережитой моими соотечественниками весны-90. Теперь, вероятно, легче представить, как во мне боролись радость и печаль, когда за окном виднелись шеренги сверстников в траурных черных рубашках с поднятыми кулаками, а по телефону слышались веселые голоса людей, наконец-то обнявших Аркадия Манвеловича Манучарова в депутатской штаб-квартире Старовойтовой, что находится в столичной гостинице «Москва».

ОТ СЕКУНДАНТА К. М. В то самое время, когда мы, пресса и читатели, только-только стали осваивать азы цивилизованного языка, учиться плюрализму, большинство публикаций вокруг дела А. М. на страницах формальной и неформальной прессы Армении напоминали мне «игру в одни ворота на своем поле, где и родные стены помогают». Но вот 24 марта с. г. на страницах «Известий» заговорил, очищаясь от пережитого за 17 лет работы следователем высшего класса, Константин Карлович Майданюк. Однако в своих небезытересных и полемических размышлениях о правах человека в правовом государстве он ни словом не обмолвился о карабахской командировке, даже не намекнул об А. М., дело которого вел «от и до». Тем не менее именно тогда я и решил: Майданюк — тот самый человек и профессионал, с которым можно и нужно наконец-то «сыграть в гостях» вне зависимости от результата и ответной реакции моего окружения в Ереване.

Уважаемый коллега-известинец, не выдавая координат своего собеседника, сказал, что тот не хотел бы сейчас выступать в печати любого масштаба на «армянско-карабахскую» тему. Подобная помощь меня только раззадорила и я... ближайшим рейсом вылетел в Москву. Милая телефонистка столичной справочной службы «09» не устояла перед моим мощным журналистским напором: оказывается, всего один (!) человек с подобной фамилией и инициалами имеет домашний телефон в Москве.

К сожалению, известинец вообще не сообщал ему о моей просьбе (тяжело разочаровываться в солидном человеке, с которым столько говорено «не для печати» за одним столиком редак-

ционного буфета, когда я работал в «Неделе» — воскресном приложении парламентской газеты).

Сначала К. М. хотел обдумать «мотивацию» (его любимое слово) отказа от интервью-дуэли, но после того, как я пообещал публиковать лишь те фрагменты стенограммы, которые он сам поправит, а значит, завизирует, встреча наша состоялась. С тех пор в моем толстом телефонном блокноте фамилии Манучарова и Майданюка расположились друг за другом.

**К БАРЬЕРУ!** Первый выстрел в жанре интервью-исповеди бывшего старшего следователя по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР К. МАЙДАНЮКА, для которого «дело А. МАНУЧАРОВА» оказалось последним за 17 лет блистательной карьеры.

— Можете не вдаваться в подробности, но попытайтесь мне объяснить: почему А. М. до сих пор не осужден за все те факты, о которых детально рассказано в республиканской прессе Армении? Что меня еще поражает: вы ушли из Прокуратуры СССР в Жилсоцбанк страны, передав готовое дело в Верховный суд СССР, однако уже шесть заседаний Брестского областного и Белорусского республиканского судов никак не могли разгрызть этот орешек, тогда как человек сидит за решеткой (как вы догадались, мы беседовали незадолго до того, как А. М. изменили меру пресечения и с подпиской о невыезде из Степанакерта выпустили из Бутырки — дело, однако, не прекращено, а возвращено на исследование в Прокуратуру СССР. — Прим. Г. К.). Если был криминал, и если, как мне стало известно, на двух японских компьютерах изучена многолетняя хозяйственная деятельность А. М., то почему же он до сих пор не осужден по закону? Возникает естественный заключительный вопрос моего первого блока: дело Манучарова — политическое или экономическое преступление, выстроенное по заранее заданной схеме?

— Должен признаться, что в принципе вы верные вопросы задаете. Поскольку областная прокуратура в Степанакерте, несмотря на указания столичных властей (Москвы и Баку. — Прим. Г. К.), ни на какие компромиссы не шла: изъятые следователями ключи от местного бюро гражданского обслуживания (БГО) не возвращала, оставался только один путь, чтобы избежать разоблачения — сделать все, чтобы эту деятельность прокуратуры прекратить. Не буду говорить, как и с кем они договаривались, как это и где, в каких условиях происходило, факт тот, что массовые беспорядки (в сентябре 1988 года. — Прим. Г. К.) были организованы с целью открыть в конечном счете БГО, привести документы в соответствие, и тогда можно вернуть ключи. После этого пусть приезжают любые московские следователи, и пусть они проверяют.

Они устроили эти массовые беспорядки, и таким образом добились своей цели. Ключи им были выданы, они похитили документы, сожгли их — поставленная задача была выполнена на «отлично».

Теперь ответу на логичный вопрос, почему Манучаров не осужден до сих пор. Я его арестовал. Я считал и теперь считаю: достаточные основания для этого имелись. Доказательства были представлены Генеральному прокурору СССР, и не однажды. Дело в том, что я с самого начала подвергался массивному давлению из Москвы.

— Могли бы вы рассказать, хотя бы намекнуть об одном подобном случае?

— Спустя неделю-полторы после ареста звонит начальник следственного изолятора и говорит, что приехали два полковника МВД СССР, требуют выдать им Манучарова (дело происходит в Шуше — райцентре Нагорно-Карабахской области, где живут одни азербайджанцы. — Прим. Г. К.). Сначала я подумал о каком-то розыгрыше. Гости вели себя кокетливо-застенчиво, не зная точно, как представиться. «Нужно вынести постановление об этапировании, его как минимум должен санкционировать прокурор области, необходимо решить вопрос спецконвоя». В ответ: «Вам дадут указание». Сажу на ВЧ, спустя какое-то время звонок Сухарева — тогда, в ноябре 1988 года, уже Генерального прокурора страны: «Немедленно надо Манучарова отправить в Москву!» — «Но ведь смысл заключения не просто в аресте, а в том, чтобы провести очные ставки, предъявить документы, организовать допросы с предъявлением определенных доказательств».

Сухарев ничего вразумительного не ответил, но и мне ясно было — внятного ответа я никак от него не добьюсь. Потому что знал — Сухарев — человек в этой области не компетентный. Короче, стало ясно, что заинтересованные лица оказывают определенное давление.

Причем делались ссылки на людей из самого высшего эшелона. Вскоре стало ясно: в том эшелоне, откуда идут эти указания, есть прямо противоположные представления о судьбе этого дела и конкретного человека.

21 декабря 1988 года меня вызвали в Москву на заседание Коллегии Прокуратуры СССР, где буквально прессовать стали: «В течение двух недель расследование закончить». Нетрудно представить нелепость такого указания. Документальная ревизия по делу, насколько мне известно, закончилась лишь в те дни, когда мы с вами беседуем. Но нет: «Вырвите оттуда 2-3 эпизода, но только осудите» — абсурд, ничего не скажешь. Тогда же мне было замечено: «Если у вас не получится, то найдется тот, кто справится».

Для меня стало очевидным, что это была позиция не лично Сухарева. У него вообще не было «позиций»: он очень восприимчив к мнениям, которые идут сверху, а поскольку там не одна, а несколько позиций, от него нельзя было получить никакого категорического ответа.

Было даже так: ко мне пришли депутаты от Армении (после уточнения оказалось, то были З. Балаян и В. Григорян — народные депутаты СССР от НКАО. — Прим. Г. К.), сказав, что был разговор с Сухаревым, и в ближайшее время Манучарова освободят из-под стражи. Я не могу судить о достоверности этого разговора, но чисто логическим путем пришел к выводу, что какие-то обещания давались...

В пятницу (14 июля 1989 года. — Прим. Г. К.) он подписал протокол об окончании предварительного следствия. Через каждые полчаса стали раздаваться звонки: вопрос был один — когда дело будет в суде? Я прошу минимум неделю. Приезжаю домой, звонок вечером: «Собирай всех в субботу и воскресенье, а в понедельник в 9.00 дело должно быть в Верховном суде СССР». Поэтому, если говорить о полноте предварительного следствия, видимо, надо признать: она отсутствует ввиду того, что дело искусственно разорвано на части. Однако с другой стороны, в марте 1989 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, в соответствии с которым предоставил Генеральному прокурору и его замам принимать решения об ограничении пределов расследования.

Так что формально указания были даны правильные. В нашем случае его подписал тогдашний заместитель Генерального прокурора Катусев, и дело Манучарова направлено было в суд в таком усеченном виде...

— Из рассказанного вами у меня возникло вновь несколько вопросов. Итак, их второй блок: если вам не дали возможности до конца довести следствие, то оно изначально было обречено на брак в юридическом смысле этого понятия? Поэтому любой мало-мальски профессиональный суд, приступая к делу Манучарова, мог понять, что оно развалено, по вашим словам, на части?

— Да, все так и было. Максимум, что я мог сделать: дать понять будущему суду, так сказать, откуда растут ноги, подготовить массу материалов, характеризующих ситуацию в целом. То есть, если мы говорим: массовые беспорядки он организовал для того, чтобы следствие не могло вскрыть его предшествующую преступную деятельность, то мы должны ему вменить в вину эту самую

преступную деятельность, а следующим пунктом — организацию массовых беспорядков.

— Выше вы говорили, что дело Манучарова из, в принципе, обыкновенного, экономического, перешло в разряд политического на фоне происшедших тогда событий в Армении и Нагорном Карабахе.

— Я считаю, что это произошло после организации массовых беспорядков, куда были вовлечены тысячи людей, взрослых и подростков. Мне хотелось бы правильно расставить акценты.

Любой, кто возьмет дело и будет добросовестно листать его с самого начала, увидит, как развивались события — именно так, как я рассказывал вам.

— После ваших слов у меня сложилось впечатление, что на фоне развернувшихся в те годы политических и межнациональных событий вы оказались не только и не столько человеком, несговорчивым, непонятливым специалистом, но самое главное — не дающим втягивать себя в эти политические игры высших сфер?

— Нет, это не совсем так. Мы же работавшие там, в Карабахе, не наивные люди, тем более пробывшие там достаточно время, чтобы не понимать происходившее. Безусловно, мы понимали, что...

... являетесь винтиком в этой Большой Игре?

— Нет, я не хочу так сказать. Я в состоянии сформулировать свою позицию в этом вопросе. Мы видели, что государство, власти политическими средствами не могут решить стоящую перед ними задачу: бесконечные оттяжки, сегодня — одни решения, завтра — другие. На первом этапе этих довольно серьезных конфликтов, которые теперь разрослись, государство наше, не имея политических путей решения вопроса, переложило сначала свою задачу на плечи следственных органов. Когда же и они не стали справляться с ней, то переложило на плечи армии. Чья очередь следующая? Но дело в том, что тогда власти были в растерянности.

Я же свою стратегическую задачу всегда видел в одном направлении: расследовать все, что имеет прямое и косвенное отношение к массовым беспорядкам, с которых началось следствие по делу Манучарова.

— Не считаете ли вы — задаю конкретный вопрос — ошибкой правоохранительных органов транспортировку Манучарова в Шушу, где он сильно заболел, подорвал, по сути, здоровье?

— Значит, почему в Шушу? Любой человек — даже не следователь, должен понимать: в Армении его нельзя было содержать под стражей, так же, как и в Баку. Рассматривались два варианта: Москва — далеко, Тбилиси, Ростов-на-Дону, Краснодар — ближе. Но в Грузии категорически заявили: мы в ваши дела не лезем; как хотите, так и поступайте, но именно для этих целей мы вам место не дадим. А в Ростов или Краснодар надо пересекать территорию Азербайджана.

Манучаров арестован был из-за того, что скрывался от следствия, лишая нас возможности проводить очные ставки, предъявлять документы. А цель какая была? Отработать предварительную часть в Шуше, насколько это возможно, быстро предъявить доказательства и отправить его в Москву — до тех пор, пока он не будет нужен для выполнения каких-либо следственных действий. Категорически утверждаю: никаких карцеров не было...

— То есть, вы утверждаете: никакого насилия над Манучаровым не совершалось?

— Я ведь не могу оправдываться, правильно? Я вам говорю; а вы мне верите или нет. До того, чтобы оправдываться — я не унижусь. Никогда. Я говорил, как это было — режим соблюдался строго, но никаких избиений, пыток, как их называют в ряде публикаций. Этого не было и быть не могло. У меня в группе был заместитель начальника угрозыска страны — представляете, какой уровень для Степанакерта или Шуши. Он пришел в изолятор и сказал: волос упадет с головы Манучарова — у тебя, надзирателя, голова упадет.

— Константин Карлович, послужило ли дело Манучарова последней каплей в завершении карьеры следователя такого ранга, как вы: сдав это дело, вы подали заявление об уходе из Прокуратуры СССР?

— (Тяжелый вздох.) Имелись определенные соображения нравственного порядка. Выше я сказал вам вскользь, что нельзя политические задачи решать руками следователей, руками солдат, о которых потом говорят, что они или оккупанты, или пришли с саперными лопатками.

Я сам, выходя из прокуратуры НКАО, видел, как плюют

в солдат, бросают в них камни, а сейчас мой сын служит в армии. И я думаю, ну почему он должен стоять вот здесь, в него должны плевать? Почему? Еще вчера он жил в Москве, ходил в школу, а сегодня он стоит в Фергане или в Карабахе, а в него плюют — за что и почему? Каждый свои задачи решает, следовательно — свои, солдат — свои, так же, как и политик. И мы не должны подменять друг друга.

— Можно ли теперь поведать о заключительном этапе, когда вы сдавали дело Манучарова в суд? Поняли ли тогда: от вас ждали одно, а вы приготовили совершенно иное «блюдо»? Оставив его в Верховном суде страны, с каким прогнозом вы закрыли последнюю страничку дела?

— Чисто прагматически, в смысле перспективы и возможности вынесения приговора? (Тяжелый вздох.) Знаете, я в принципе недалеко ушел от той точки зрения, которую высказывал на коллегии Прокуратуры СССР 21 декабря 1988 года. Мое убеждение сначала и на момент окончания дела таково: оно должно быть расследовано целиком, и только в этом случае вердикт будет справедливым.

— Сейчас, насколько я понимаю, дело Манучарова находится в перманентно замороженном состоянии, и поэтому очень трудно будет дать ему ход. Ибо со временем политический вес этого дела настолько перевесил то, что вы разбирали, — экономические преступления А. М., что трудно все это сопоставить, положить на одни и те же весы — я так понимаю сегодняшнюю ситуацию?

— Видите ли, эти весы для взвешивания находятся не в нашей комнате (кстати, мы беседовали в газетном архиве «Известий» на Пушкинской площади. — Прим. Г. К.) Они находятся в таком месте, что мы не знаем, как и что взвешивается. Сам я оказываюсь в двусмысленной ситуации: с одной стороны, я понимал, что в таком виде дело нельзя направлять в суд, с другой же: я подписал обвинительное заключение, а никто другой. И я должен говорить об этом. Хотя бы сегодня с вами.

— Кто бы мог быть вашим оппонентом, способным вас теоретически переубедить?

— Положим, те, которые его выдвинули в народные депутаты Армении. Они же, взвесив все это, тем не менее решили предложить его кандидатуру — значит, они должны иметь в виду нравственную сторону этого вопроса?

— Моя точка зрения такова: сегодня стало модным заниматься политикой, а быть патриотом — просто хобби у некоторых. На фоне номенклатурного аппарата возникает искушение стать чуть ли не «национальным героем», а от слов к делу переходят стремительно, согласно известным законам создания имиджа популиста. Попробуйте такого «победителя» развенчать — вас закидают камнями и криками на митингах. К тому же победителей ведь не судят, не так ли?

— Я недавно был в Ленинграде. Там на заборах повсеместно надпись: «Если ты не чайник, голосуй за Иванова, его не любит начальник».

— Это уже на уровне уличного фольклора, тем более, что Иванов (или Иванян, как его представлял на митингах его коллега Гдлян. — Прим. Г. К.) теперь уже «наш» — народный депутат Армении, как и Манучаров.

— Тем не менее в заборной надписи сконцентрировано все то, о чем мы говорили: кумир создан — его уже не свалить, никак не развенчать...

— К вашей аргументации трудно найти контрдоводы, но вот что смущает: если прав Майданюк, то почему же до сих пор Манучаров, по вашей же логике, не осужден?

— Честно говоря, за первым этапом событий мне удавалось следить, но я отошел сейчас, потеряв канву событий. Я не знаю мотивацию последних судебных решений в Белоруссии и Москве по Манучарову, что предпринимала в связи с этим Прокуратура СССР, и почему она не освободила до сих пор его из-под стражи...

— Почти все, кто пишет или говорит о Манучарове, убеждены: он рано или поздно будет освобожден — человека никак не могут осудить, и все тут. Каков ваш прогноз, если он имеется?

— Вы знаете, я думаю, что в определенной степени это вполне возможно. И с каждым днем это становится все вероятнее.

— Этот ваш ответ — самое большое для меня открытие в ходе нашего долгого разговора...

— Дело в том, что доказательства имеют постоянную тенденцию к распаду. От окончания следствия до рассмотрения дела в суде они никогда не становятся сильнее, убедительнее. Потому что меняется политическая ситуация в нашем обществе. Люди, находясь среди людей,

переоценивают ситуацию, испытывают воздействие массового сознания: ведь в своей среде выглядеть предателем, знаете, что такое — это очень серьезный фактор. Вряд ли найдется человек, который ради истины готов был снести всеобщее презрение и отчуждение, сказав: «Нет! Пусть меня втопчут в грязь, но я буду стоять за правду до конца!» Таких людей сейчас нет, или, может, их — единицы.

— В этих ваших размышлениях речь идет о людях, отказавшихся от прежних показаний в деле Манучарова, после чего многие конструкции обвинения разрушились. Тем не менее вы логическим путем продемонстрировали мне: нынешняя ситуация в нашем обществе такова, что его могут в ближайшее время освободить, изменив меру пресечения?

— Да, мы должны смотреть на факты реально. Если в суде эти люди ничего не подтвердят, если те доказательства, которые останутся в деле, покажутся суду недостаточно убедительными, так и произойдет...

— Давайте пофантазируем: коль вы не исключаете, что Манучарова могут в ближайшее время освободить, допустим, он вышел из Бутырок, и вдруг происходит ваша «случайная» встреча, о чем бы вы говорили с ним, если и он, и вы согласитесь общаться? Какова будет ваша реакция?

— Для меня тут всего один вопрос, и он стоит только так: смогу ли я ему прямо в глаза посмотреть? И здесь я совершенно категорически отвечаю — буду смотреть ему в глаза ровно столько, сколько это будет надо. Безо всяких колебаний. Именно это я говорю совершенно однозначно.

**ПОСЛЕ ВЫСТРЕЛА.** Повторюсь, мы разговаривали долго, примерно за месяц-полтора, до долгожданного приезда А. Манучарова в Ереван, где после символического курса лечения (символического, потому, что больничная палата мне напоминала приемную народного депутата Армении). Он участвовал в работе нового республиканского парламента, а затем, наконец-то, вернулся в родной Степанакерт, трансформировавшись в невыездного парламентария, то есть как это и было за решеткой Бутырской тюрьмы.

Естественно, я многих умозаключений бывшего следователя высокого ранга не разделяю. Скажу больше: наиболее его резкие высказывания по адресу А. М. просто опущены мною. Точнее, не «просто», а сознательно. Согласитесь, окончательный вердикт вынесут все-таки не читатели, а судьи. Пусть каждый, как справедливо заметил К. Майданюк, занимается своим делом.

Прямо скажу: у меня было два варианта подготовки первой половины «дуэли» А. Манучаров — К. Майданюк. Я мог печатать всю стенограмму размером около 30 страниц, выправленную и одобренную К. М., но затем прокомментированную, например, Г. Старовойтовой, доверенными лицами А. Манучарова на прошедших выборах, двое из которых стали также народными депутатами Армении.

Но я решил, исходя из размеров журнальной площади, обойтись без «костылей»: каждый разумный, объективный читатель вынесет из нашей беседы, как и из любой другой, именно то, что ему хочется, именно то, что вызовет в нем субъективный протест или одобрение. Однако у этого «выстрела» — беседы-исповеди есть одно исключительное и заинтересованное лицо в ряду сторонних наблюдателей «дуэли» — читателей: сам Аркадий Манвелович Манучаров.

**К БАРЬЕРУ!** Ответный выстрел в жанре интервью-разоблачения народного депутата Армянской ССР А. МАНУЧАРОВА, выпущенного из-под стражи после полугодовой отсидки без судебного приговора в Шушинском (НКАО), Лефортовском и Бутырском следственных изоляторах (оба в Москве). Сегодня, пользуясь достижениями «эпохи гласности», можно расставить почти все точки над «i» в заочной «дуэли» с теперь уже бывшим старшим следователем по особо важным делам при Генеральном прокуреоре СССР К. МАЙДАНИОКОМ.

**ОТ СЕКУНДАНТА А. М.** Напомню, со дня его возвращения в Ереван двухкомнатная больничная палата со всеми удобствами и городским телефоном по сути трансформировалась в приемную народного депутата Армении. Ему надо было избавляться от многих хворей, заработанных под тюремными крышами, а он почти круглые сутки (сам очевидец) выдерживал атаки «врачей» (само собой — без белых халатов), которые, невзирая на самочувствие пациента, физическое и душевное, не договариваясь друг с другом, обрушили на А. М. мощный водопад

политических событий и явлений, происходивших в Армении и Арцахе (так армяне называют Нагорный Карабах. — Прим. Г. К.) за весь период его пребывания за решеткой.

Мы общались два июльских утра. Дефицит журнальной площади не позволяет, к сожалению, рассказать обо всем, что обычно преподносится под сенсационной рубрикой «впервые в печати». Всему свой черед. Именно поэтому давайте сегодня сконцентрируемся на втором акте дуэли «эпохи перестройки».

Было бы нечестно не признаться, что, как и ожидалось, не всем из окружения, точнее, команды А. М. понравился даже сам факт встречи с К. М., не говоря уж о предстоящей публикации. Уверен, больше всего нареканий вызовет жанровое определение интервью московского дуэлянта — «исповедь». Наконец, некоторым моим соотечественникам никак не «улыбалась» моя журналистская затея заочного, но в определенной степени уникального диалога бывшего подследственного со своим бывшим следователем.

Ничего не поделаешь — на свою жизнь можно, а иногда и нужно смотреть сквозь чужие очки.

У меня сложилось впечатление, что лишь А. М., уверенный в своей правоте, понял весь глубинный смысл, на первый взгляд, бесхитростной, по сути, журнальной «перестрелки». С его стороны были проявлены честность и благородство, присущие знаменитым дуэлянтам пушкинской поры: под левой рукой лежали мои вопросы к А. М., под правой — папка с полной стенограммой беседы с К. М. Обдумывая свои ответы, А. М. решительно отказался от предложенной возможности заранее заглянуть, как говорится, в ответы на последней страничке задачника. Своеобразный тест был выдержан, и мы вели беседу прямо, на диктофон. Без черновика — сразу на беловик для «Родника».

— Итак, мой первый вопрос: что бы вы сказали К. М., встретившись с ним где-то совершенно случайно?

— Я бы задал ему единственный вопрос: «Майданюк! Как вы сегодня считаете — были правы или нет, когда по заданию нашей «верхушки» мучили меня?» Если бы он ответил: «Да, я — виноват», — крепко пожал его руку. Однако если бы он стал говорить о своих чувствах и разбирать отношение, которое проявлял ко мне по требованию «сверху», то я бы не хотел с ним общаться никогда и нигде.

— Вернемся к периоду вашего ареста. Когда вы познакомились с Майданюком, как он себя вел по отношению к вам?

— Середина ноября позапрошлого года. Степанакерт. Обком партии. Мне не хотелось туда, но по настоянию и рекомендации тогдашнего первого секретаря Генриха Погосяна меня пригласили, сказав, что представители Прокуратуры СССР просто, по-человечески хотели бы познакомиться со мной, поговорить. Позже я понял, что они (сначала я увиделся с заместителем Генерального прокурора СССР Хитриным, позже подошел и К. М.) изучили, так сказать, мой образ для дальнейшего планирования своих мероприятий до ареста.

Второй раз я видел его уже в Шушинской тюрьме, когда 30 ноября ко мне, в камеру смертников, пришел К. М., молодой генерал. Еще до ареста мне было о нем известно: строгий, грамотный, с большим авторитетом и потенциальными возможностями — именно таким работникам наша Административно-Командная Система доверяет выполнение подобных поручений. Вот с такой деловой злостью и встретил он меня в первую нашу встречу за решеткой.

— Вероятно, вы догадывались о тех хитросплетениях, которые велись за вашей спиной еще до того, как вас вероломно арестовали в Ереване, а затем этапировали в Шушу?

— Я всегда знал: мои политические убеждения — главная вина, а так называемые хозяйственные нарушения в моей работе — лишь предлог. Комитет особого управления НКАО и Прокуратура СССР заранее провели «артподготовку» моего ареста. Первый «выстрел» — распространение разнообразных слухов с целью унижить меня публично, оскорбить мое человеческое достоинство как лидера карабахского движения, пользующегося доверием всего армянского народа.

Снова середина ноября 1988 года. В мой рабочий кабинет зашли лучшие сыновья Карабаха — Ролес Агаджанян, Реберт Кочарян, оба — народные депутаты Армении, Эрцест Айрапетян и Борис Арушанян. Оказываются, их вызвал

к себе Вольский и сказал: «Идите к Манучарову, скажите ему: «Ты, коррумпированное лицо, ты руководишь местной мафией». Мы это окончательно установили вплоть до того, что у А. М. имеется трехэтажный дом в Ереване, стоимость которого около 1 миллиона рублей, там же расположен стометровый плавательный бассейн, что он из личных средств раздал по 100 рублей каждому из армян, проживающих здесь». Посчитайте: речь идет о сумме более одного миллиона рублей. Дальше — больше: всем беженцам, прибывшим сюда из Сумгаита, я, мол, приобретал из личных сбережений постельные принадлежности и т. д.

«Может ли такое вообще быть?» — удивленно спрашивали мои товарищи, конечно, не поверившие в эту большую ложь. Но я понял, что именно через соратников была предпринята попытка дискредитировать меня, «похоронить» мой авторитет. Второй «выстрел»: шантаж через определенных лиц и даже женщин. Наконец, Вольский прямо предложил мне немедленно покинуть Карабах: «Так будет лучше — уезжай отсюда!» (Услышав подобное, я вспомнил «эпоху застоя» и настоятельные советы власти имущих нашим знаменитым диссидентом во главе с академиком Сахаровым о желательном отъезде за рубеж. — Прим. Г. К.)

И мои соратники по «Крунку» (ныне запрещенная организация общественно-политического характера армянского населения НКАО — Г. К.), и все здоровые силы нашего народа воспринимали этот фактор неправильно: они думали, что если я уеду, то меня оставят в покое, не арестуют. Однако я сразу понял задуманное. Сценарий московских эмиссаров заключался в том, чтобы, добившись моего отъезда из Степанакерта, затем громогласно объявить: «Теперь вам ясно, кто ваш лидер — в самый тяжелый момент покинул вас и уехал восвояси».

— Давайте вернемся к нашему «герою» — К. М. Как он обращался с вами в ходе допросов, допускал ли он грубость по отношению к вам?

— В первые дни он постоянно приходил с полковником Хромовым из МВД СССР. Как вел следствие К. М.? Даже если мы беседовали пять часов подряд, мы должны были смотреть друг другу в глаза. Они оба принуждали меня взять на себя вышеизложенные обвинения. Подходили вплотную, но рукоприкладства как такового, конечно, не было. Потому что они знали, кто какую «миссию» выполняет, в какую тюрьму меня поместили: «Немедленно давайте выедем и будем разбирать стены» (имелось в виду наличие особняка. — Прим. Г. К.)

Мне стыдно в этом признаваться, но никогда за свою жизнь ничего собственного — даже велосипеда — не имел, за исключением государственной четырехкомнатной квартиры, у меня нет и не было никаких особняков, дач, автомашин...

— К тому же мы почему-то с вами беседуем не в том пустующем трехэтажном доме, вашем, по сведениям следователей, а в большой палате, правда, с балконом, казенными холодильником и телевизором.

— В процессе всего следствия я предлагал работникам Прокуратуры СССР такую «игру»: предположим, я подпишу протокол о всей огромной собственности, которую вы мне приписываете — вы же меня попросите показать перечисленное вами? И что мне отвечают, представляете? — «Это уже не твое дело — будет нужно, предоставим даже фотокарточку, где стоишь у особняка, открывая его двери». Услышанное — не просто фантастика. Страновато было понимать, что меня хотят искусственно, лживо обвинить, что «они» способны практически на все.

Позже следователи инкриминировали мне многотысячный долг нашему государству. Впервые для прессы я признаюсь о моей единственной сберкнижке, где начислено... 42 рубля 70 копеек. Да, у нас семья довольно большая: два сына, дочь. Тогдашний наш общий бюджет доходил до полутора тысяч рублей ежемесячно — половину этой суммы зарабатывал я в качестве директора комбината стройматериалов. И еще успевал участвовать в раз-

работке коллективных изобретений (примерно около трех десятков), за что у меня есть 16 свидетельств ВОИР.

Всю свою жизнь посвятил тому, чтобы строить, делать добро людям — поэтому никак не был всем предыдущим образом жизни подготовлен к такому повороту судьбы, как пребывание в тюрьме. Никогда не мог (даже в самом жутком сне) подумать, что высшие чины советской юриспруденции вплоть до Генерального прокурора СССР с уникальной тенденциозностью, лживостью могут возводить подобные модели обвинения.

— Кстати, какие вести из Прокуратуры СССР, Верховного суда страны с тех пор, как вы прилетели из Москвы в Ереван? Известно ли вам отношение к сегодняшней ситуации вокруг вашего дела лично Сухареву, который, как мне рассказывали московские коллеги, подал протест, (правда, не удовлетворенный Верховным судом страны), вернувшись из-за рубежа и обнаружив ваше освобождение из-под стражи с подпиской о невыезде?

— Изменив меру пресечения, меня отпустили на свободу. Если вести точный отсчет слушаний моего «дела», то получается: Брестский областной суд — дважды, Белорусский республиканский — четырежды, а в последний раз — Верховный суд страны. И каждый раз меня не приглашали на эти заседания, хотя никто меня не осуждал каким-либо приговором. Хотя мой адвокат Юрий Маркович Шмидт оперативно сообщал о безрезультатных итогах этих многочисленных заседаний, мне и без того было ясно: никаких улик, криминальных фактов следственная группа не в состоянии найти. И это несмотря на то, что по моим самым приблизительным подсчетам, за полтора года «делом Манучарова» занимались (и занимаются) около 120 специалистов, доставленных в Степанакерт из разных регионов страны. К сожалению, они ничего существенного не нашли и найти не сумеют...

— Даже с помощью двух японских компьютеров, напомним, задействованных следственными органами страны...

— По сведениям, полученным от сотрудников комбината стройматериалов, весь наш архив руками следователей, других «специалистов» превращен, по сути, в утиль — настолько часто они перелистывали документы, буквально до дыр просмотрели, перечитали. Повторюсь, и до сегодняшнего дня ничего существенного они не установили.

— Какую роль сыграл в вашем деле лично Сухарев?

— В условиях тюремной изоляции у меня такой информации не могло быть. Но я знал: каждый раз, когда рассматривался мой вопрос со стороны Прокуратуры СССР, Сухарев почему-то лично стремился обвинить, осудить и назначить мне определенный срок отсидки. Самый яркий случай произошел 15 января сего года, когда после второго рассмотрения брестские судьи решили вернуть дело на доследование в Прокуратуру СССР, а меня выпустить из Бутырки, изменив меру пресечения. Однако произошло невозможное: подобное решение было реализовано лишь через четыре месяца. Согласитесь, вряд ли брестский суд пошел против самого себя: тут или сам Сухарев, или кто-то повыше включил известные механизмы давления и выкручивания рук.

Когда я находился в Бутырке, других тюрьмах, всю информацию общеполитического характера получал через радиотрансляцию, из газет, чаще всего «Правды». Слушал или читал выступления Горбачева, Лукьянова. Например, когда на сессии Верховного Совета СССР обсуждали статью 96 Основного закона страны, то коварно касались и моего вопроса, но все они торпедировали, блокировали мое «дело», демонстрируя тем самым архитенденциозное отношение лично ко мне.

— Не знаю, как у кого, у меня возникло подозрение, что для всех них вы оказались чуть ли не личным врагом?

— Ваш вопрос можно дополнить: почему они так считали? Я должен сказать, что и советская власть, и утопический социализм не дошли до Карабаха, в отличие от иных регионов нашей страны. Мы жили и живем в качестве третьесортного народа, находясь под гнетом, как колония, в административном подчинении Азербайджана. Все 70

лет в Нагорном Карабахе эпоха стагнации, а тут некий Манучаров посмел стать занозой для Москвы, чуть ли не бревном в кремлевских глазах.

— В беседе со мной К. М. упомянул об инициативе Сухарева освободить вас после его встречи с народными депутатами СССР. Что же произошло на самом деле?

— Вернемся в прошлогодний май, когда карабахский народ в категорической форме потребовал моего освобождения, обратившись лично к Вольскому. Тот выехал в Москву, где общался с Генеральным прокурором СССР, после чего выступил по степанакертскому радио: «Дела у Манучарова идут неплохо. Его материалы переданы в суд. В ближайшее время состоится процесс, и мы считаем, что все будет нормально».

В эти же дни я еще продолжал знакомиться с уголовным делом. Тогда же мои близкие товарищи и соратники, народные депутаты СССР Зорий Балаян и Вачаган Григорян оказались на приеме у Сухарева, сказавшего им: «Если Манучаров сегодня подпишет протокол о том, что он полностью ознакомился с делом (в то время, как у меня в запасе был целый месяц! — Прим. А. М.), то мы его завтра же отпускаем на свободу».

Немедленно «вызвали» в Москву мою жену Ирину Вагаршаквану (честно говоря, она уже находилась в столице, будучи в постоянном ожидании моего выхода из Бутырки на свободу) и адвоката, повторившего мне те же слова Генерального прокурора СССР. 14 июля, помню, после обеда меня привозят в здание Прокуратуры СССР на Пушкинской улице, где подписываю чин чинарем оформленный протокол, хотя тогда мною было прочитано пять томов из всех 23-х. Сокамерники, узнав об этой новости, обрадовались.

И вдруг известный механизм вновь сработал против меня — мое дело тут же передается в Верховный суд СССР. Думается, тут сыграл роковую роль Вольский: если бы он действительно хотел меня освободить из-под стражи, это произошло бы намного раньше, чем сейчас.

— Относительно К. М. мы остановились на его отношении к вам, когда вы находились в тюрьмах. Можно ли подробнее об этом?

— Он уверяет вас, что я не сидел в карцере (усмехается). Для меня смешно и грустно: действительно, карцера не было. Но в Шушинской тюрьме меня первые 13 дней держали в одиночной камере смертников, остальные полтора месяца ко мне подсаживали такую категорию заключенных, которых в просторечии называют «стукачами» (в ходе нашей многочасовой беседы этой «коллекции» соседней А. М. во всех изоляторах мы посвятили достаточно времени. — Прим. Г. К.).

Для сведения: Шушинская тюрьма расположена на высоте 1400 м над уровнем моря, на улице в те зимние дни — 10 градусов, а ночью в камере было еще холоднее. Мощенный булыжником пол, именно у меня сняли радиатор отопления, не дали матрас — вместо него получил чехол без ваты, а подушка — словно плаха под головой. Так и не понял до сих пор, что же туда умудрились положить: то ли деревянные чурки или что-то покрепче...

Когда обо всем этом я говорил К. М., он отвечал: «Мое дело — вести следствие». С его молчаливого попустительства за почти 3 месяца пребывания в Шуше я потерял 24 килограмма, возобновились все мои хронические болячки: остеохондроз, панкреатит, сердечные боли, бессонница, очень плохо было с правым глазом. Я уж не говорю о такого рода мелочах, как то, что меня в баню не водили вообще, а побрили единственный раз, когда следователи из Москвы допрос снимали на видеопленку. Тогда же забрали и не возвратили всю мою документацию, не давали читать ни одну газету...

— Когда вы видели К. М. в последний раз?

— В апреле 89-го, когда я находился в Бутырке. У заключенных по отношению к следователям есть две клички: «кнут» и «пряник». Первым в моем «деле», естественно, был К. М., а обязанности второго исправно исполнял его коллега по рангу и чину — Базин. Если К. М. каждый раз говорил только о расстреле или о сроке от 8 до 15 лет,

то Базин почему-то смягчал мой «приговор» чуть ли не до 3 лет. Самое тяжелое было психологически переносить, когда К. М. угрожал: «Если ты не будешь брать на себя...»

— А что, он с вами говорил на «ты»?

— Лучше бы он обращался на «вы» (смеется), чем интеллигентно на «вы»: «Если вы не возьмете на себя те показания, которые мы требуем, будем вынуждены арестовать всех членов вашей семьи — завтра из соседней камеры услышите голоса сыновей». Эти слова мне говорились в Шуше.

А Базин, беседуя со мной, первым делом угощал сигаретами, зная, что его коллега Михайлюк (тоже из группы К. М., сколоченной для разбора моего «дела») запретил мне, курящему человеку, дымить в ходе ознакомления с томами уголовного расследования. По этому поводу я даже написал соответствующую жалобу. Словом, Базин уговаривал меня «облегчить собственную участь», взяв на себя определенные показания. Тем самым мое наказание могло быть ограничено работой на химических предприятиях, причем, с помощью Вольского можно добиться моего последующего перемещения в Степанакерт. Мол, об этом потом мог бы позаботиться мой друг — народный депутат СССР Борис Дадамян, находившийся, по их сведениям, в приятельских отношениях с председателем Комитета особого управления НКАО.

Напоследок все-таки процитирую Базина: «Если пойдем навстречу, возьмешь кое-что на себя, я поговорю с К. М. — и он ведь человек, — наверняка согласится с нашим уговором. А на суд пошлем пожилого человека, который будет тебя защищать ради принятия гуманного решения. В противном случае, напомним, К. М. — влиятельный человек. Он может все довести до той кондиции, которой ему захочется...»

— Какое в целом оставил на вас впечатление К. М.? Я имею в виду его чисто профессиональные качества.

— Могу признать: он — специалист высокого ранга. Когда я общался с ним, всегда спрашивал себя: почему же К. М. относится ко мне архитенденционно? Сам же и пытался найти ответ, размышляя: он приехал в Степанакерт через Баку — не исключаю вариант и подкупа. Второй фактор: молодой генерал, имевший во времена командно-административной системы чисто карьеристские побуждения, оказался в Карабахе — эпицентре мирового демократического движения тех лет. Неужели, обрадовавшись этому обстоятельству, К. М. захотел на беде армянского населения НКАО сделать новый карьерный прыжок? И третий вариант — на него давят, от него требуют заданного финала моего «дела».

Сегодня, когда сравниваю свои постоянные размышления по этому поводу с его словами о давлении, прихожу к умозаключению: деньги за меня заплатила вторая сторона. Вероятно, они не дошли до К. М., иначе он не смог бы все оставить и — скажу прямо — уйти в кусты. Считаю, что деньги, видимо, дошли по адресу, согрели руки тех, которые «сверху» на него давили.

— Я так понимаю, что вы приходите к мнению о том, что Константин Карлович оказался винтиком в этой Большой Политической Игре вокруг Карабаха?

— Да, именно осознание этого, его душевная боль по этому поводу привела Майданюка к известному уже выводу об отставке со столь высокого поста в столь молодом возрасте и со столь большой перспективой.

— Не пытались ли вы сами применить его «методу» общения: посмотреть своими красивыми глазами — простите, мужчинам не принято говорить комплименты друг другу — смотреть в упор на него самого?

— Признаюсь: мне было очень неприятно, когда я уловил в К. М. какие-то отдельные чувства, приемы ведения следствия посредством гипноза...

— Да что вы говорите?!

— Я могу говорить об этом с уверенностью. Даже думал, как мне уходить от его пронзительного взгляда на протяжении многих часов допросов. Я ношу очки. Когда

он «выстреливал» мне в глаза, я устанавливал очки на переносице (показывает) так, чтобы наши зрачки не сохлослись.

— Голь на выдумки хитра, ничего не скажешь!

— В конце концов я понял: К. М. знает, что Манучаров не «коррупцированное лицо», что я арестован прежде всего за свои политические убеждения.

— Об этом частично он признался в беседе со мной, если вы помните.

— Благодарю вас за это. К сожалению, он признался в этом, будучи в отставке. Но какими недозволенными приемами он попытался добыть меня за решеткой! Чтобы я признался «хоть в чем-то».

— В заключение у меня есть пара коротких вопросов. Каков прогноз относительно финала собственного дела? Когда будет поставлена долгожданная точка в нем?

— 29 мая с. г. Верховный суд страны в седьмой раз (!) рассмотрел мой вопрос: коллегия решила вернуть мое «дело» на доследование в Прокуратуру СССР.

— Хотя как справедливо утверждал мой известный коллега Юрий Васильевич Феофанов в своих июльских юридических размышлениях о вашем деле, такого не бывает ни в одном цивилизованном государстве...

— Я готов подписаться под этими словами. Да, принято решение: изменить меру пресечения. Уверен, Прокуратура СССР попытается еще долго меня обвинять, преследовать. Чтобы затем не принести никаких своих извинений перед человеком, который полтора года безвинно провел в трех изоляторах страны.

— На что же вы надеетесь, если те же самые высокопоставленные чины никак не могут набраться смелости, чтобы хотя бы на казенной бумаге из Прокуратуры СССР извиниться перед так же необоснованно задержанными, затем на несколько месяцев изолированными от внешнего мира членами Комитета «Карабах» из Еревана?

— Я — реалист. Поэтому рассчитываю, что они будут стараться долго держать меня в пределах принятого казуистического решения, держать как бы в своих руках. А подписка о невыезде, которую они у меня взяли, обязывает меня находиться в Степанакерте. Во-первых, для того, чтобы на воле я не забывал бояться их: они могут сделать со мной все что захотят. Во-вторых, чтобы я никак не участвовал в политической деятельности. Но я скажу вам открыто, сделав публичное заявление: никогда и никто не сумеет, не имеет права обвинить меня в нарушениях относительно моей хозяйственной и политической деятельности в Карабахе. Если это когда-нибудь и кому-либо удастся, знайте, уважаемые читатели «Родника», подобная акция — полнейшая фальсификация. Поэтому я сегодня не беспокоюсь: буду и работать, и активно вести свою дальнейшую политическую деятельность во имя достижения тех справедливых целей, которые многие десятилетия ставит весь армянский народ!

Москва — Ереван.

ВМЕСТО ПОСТСКРИПТУМА. Еще раз должен сказать о самой главной трудности принципиального «выстрела» А. Манучарова: по объему, представьте, она отражает лишь пятую часть всей стенограммы нашего разговора. Еще одно немаловажное обстоятельство не оставляет меня в покое до сих пор. В тот вечер, когда Аркадий Манвелович прочитал свою беседу и стенограмму беседы с Константином Карловичем Майданюком, по сути завизировав тогда же нашу марафонскую «дуэль», Ирина Вагаршакновна, супруга А. М. сообщила мне (но не в его присутствии), что так уж совпало — после наших откровенных интервью в больничной палате у него вновь стало барахлить сердце, начал безостановочно курить...

Поэтому прошу великодушно извинить меня за доставленное беспокойство и пожелать А. Манучарову крепкого здоровья. А мое стремление ворошить прошлое, пережитое исходило и исходит из большого и долгожданного желания знать ПРАВДУ об этом громком деле. Тем более из первых уст...



МИХАИЛ ДОРОШЕНКО

# СЦЕНЫ ИЗ СТАРИННОЙ ЖИЗНИ

Лестница богатого дома. Распахивается дверь наверху. Двое слуг выбрасывают господина во фраке, а затем бросают ему трость, плащ и цилиндр.

— Э-э-эх, господа! Над кем смеетесь? — обращается он к публике. — Сегодня нас выбрасывают, а завтра — вас! Но вот ведь парадокс — у русского человека шея одна, а гонят в три. Загадка природы, сиречь, не природы, — науки-с! Аллогизм, так сказать. Однако, пребольно ушибся. Я им указал на их недостатки, а они мне — на дверь. Подлецы! Выбить бы окна, да только побьют ведь, прохвосты. Пожалуй, с пролетки швырну им в окно булыжник и — деру!

— Идет, господа!

— Не идет, а плывет. На флейте, говорят, играет.

— То муж ее играет на флейте, а она — на барабане.

— Нет, муж ее в карты играет, а на флейте она.

— На барабане, господа! Когда муж запивает да в дому осадное положение объявляет, она потешное войско ведет — на штурм усадьбы. Аделаида Евграфьевна, здравствуйте. Целуем ваши ручки, пальчики и ножки, если позволите.

— Позволю, миленький, ежели ты рот промокашкой прикроешь. Чернила на губах не обсохло, а все туда же! Щелкопер несчастный!

— Эх, Аделаида Евграфьевна, вам бы дивизией командовать. Стрелу, господа, на лету остановит, в горящую избу войдет...

— И в бордель в Карлсбаде на водах зайти может да тамошних девок перепороть вместе с клиентами плеткой из ревности.

— Это что-то новенькое, Аделаида Евграфьевна. Не слышали-с.

— Ну, как же не слышали, Афанасий Сергеевич? Не вы ли сей истуар про меня разглашали на днях?

— На днях меня не было.

— В живых? От страха или еще от чего?

— В городе не было.

— А я вас заметила.

— То двойник, мой троюродный брат. Обознались.

— Передай своему тройнику: Аделаида Евграфьевна перепороть не только девок в росписнях его мерзких сумеет, но и его самого. Ваше превосходительство, вы как раз кстати. Я до вас с жалобой на Афанасия Сергеевича. Пашквильянту подобного рода надобно камень на шею, да в прорубь.

— Аделаида Евграфьевна, к чему такие строгости? Ну, обронил Афанасий Сергеевич какую-то глупость — для красного словца. Он — весельчак, любитель приврать, но безвреднейший малый.

— Ваше превосходительство, он книгу собрался писать, про меня — «Гренадер».

— Кто таков? Как зовут? В каком с вами родстве состоит?

— Гренадер — это я, да будет вам известно. В суд на него я подать не могу, на дуэль мой медведь никогда не соберется. За честь бедной женщины некому постоять. Я его сама на

дуэль вызывала — на саблях, а он мне бороться при всех предлагает.

— Да вы победите, Аделаида Евграфьевна. Он ведь блефует, думает — вы не решитесь, а вы согласитесь.

— Он только того и ждет, чтобы я согласилась. Вы все заодно, подлецы!

— Аделаида Евграфьевна, я при исполнении, а вы меня эдак, я вас под арест.

— Барин у нас остолбенелый.

— Как тебе понимать изволишь, Габриэль? Так тебя барин зовут!

— Гаврила нас прозывает, а барин нонче никого не зовет, токма зенками вращает — остолбенелый он нонча.

— В столбняк, стало быть, впал? Это что — ипохондрия какая или попросту перепил?

— Давеча барин, осерчавши, тулупчик на себе порвал. Плечиками дернул и порвал на спине, да локтем в стену попал и остолбенел, как стутует ерманский.

— Почему же германский, голубчик?

— Потому как в сугубом гневе были в сей момент. Глаза выпучили, только зенками зыркают во все стороны, а сами м<sup>о</sup> двигаются. Лекаря вызывали, Хвогеля...

— Известный мошенник, а лекарь отменный.

— Лекарь простучал нашего барина молоточком своим. Чистое дерево, говорит, эбен! Али слоновою кость. Галатей из вашего барина получится. Наука тут бессильна. Мы его и в горячей воде и в холодной отмачивали. Ничего не помогло...

— Водкой надо было отпаивать.

— Извели сорок ведер. Не помогает. Лекарь сказал...

— Ничего-то ваш лекарь-калекарь не понимает. Коньячком нужно было французским поить.

— Он предлагал, да барыня сказала — накладно.

— Девку надо было раздеть перед ним поядренией. Враз ожил бы!

— Хвогель сказывал, будто душа его в гастралии пребывает — до страшного суда. Барыня велела его в доспехи обрядить да в передней выставить заместо украшения, чтобы без пользы места в дому не занимал, а сама не знает, замуж ей выходить, али нет. В синодах дело разбиралось, обещали к весне ответ прислать, а уж осень. Приезжал епископ из Пительбурга, велел сорок молебнов за здоровье души отслужить, а за ним другой — из Москвы. Энтот велел за упокой служить. Спорили они, спорили, да так и не сговорились.

— Эй, Аарон, чем ты торгуешь здесь рядом со мною, несчастный?

— Здесь — серебром, уважаемый Бен Монида, а там — золотом.

— Тьфу, тьфу, тьфу три раза на твое серебро и один раз на золото. Тьфу три раза по три и еще девять раз, говорю я тебе, на твое серебро и один раз на золото. Тьфу!

— Уважаемый Бен Монида, почему ты плюешь много раз на мое серебро и даже один раз на золото? Зачем ты тратишь свою драгоценную слюну на мой презренный товар?

— Я скажу тебе, Аарон, скажу тебе. Но прежде тьфу на твой жалкий товар еще раз и еще девять раз. Чем ты будешь торговать, Аарон, если я сяду рядом с тобой, здесь в пыли, и начну продавать свой товар!

— Уж не собираетесь ли вы, уважаемый, торговать серебром?

— Где ты видишь серебро, Аарон? У меня более ценный товар.

— Где же он, уважаемый Бен Монида? Ничего не вижу.

— Промой очи глаз своих и воздай Всевышнему за то, что Он сделал тебя подслеповатым, ибо ты разве ослепнешь, если

увидишь блеск моего товара. Разве не я посоветовал тебе продавать слитки из олова под серебро и даже под золото, чтобы в каждом доме во Львове лежало твое серебро на комоде и соседи удивлялись на такое богатство?

— Уважаемый Бен Монида, все так, как ты сказал, только зачем ты сегодня плюешь на то, что вчера было крупницей от щедрот твоей мудрости?

— Аарон, разве во Львове остался хотя бы один буфет, на котором еще не лежат твои слитки? Разве кто-нибудь покупает у тебя твой товар? Зачем ты сидишь здесь во Львове и разоряешься? Поезжай в Могилев!

— Уважаемый Бен Монида, зачем мне уезжать в Могилев, если солнце нашего квартала пребывает во Львове! Зачем мне, неразумному, возвращаться одному в Могилев? Я поеду с тобой, уважаемый!

— Эх, Аарон, разве тебе неизвестно, что сказал великий русский писатель Гоголь? В России горе от ума! Горе мне, Аарон, горе везде! Ты продаешь свой товар, чтобы заработать столько денег, чтобы люди считали тебя умнее, чем Ротшильд. Ты доволен и счастлив, несчастный, не так ли?

— Да остаться мне в одном этом шарфе, который сплела мать моей бабушки, чтобы я не был счастлив!

— Теперь спроси меня, Аарон, счастлив ли я? Нет, скажу я тебе! Ты получаешь за свои безделки полноценные деньги, а я за мои бесценные идеи от вас — ваши деньги!

— Если вам мало, мы, уважаемый, отдадим вам последнюю крону, припасенную на тот случай, если надо будет купить веревку и удавиться от бедности.

— Эх, неразумный! Разве ты не знаешь: сам Ротшильд сидит в коляске у меня перед дверью в очереди за моими советами.

— Так чем же ты недоволен, уважаемый??

— Аарон, меня обсчитывают.

— Как можно? Кто этот негодяй?

— Я сам, Аарон.

— Как может быть такое несчастье?

— Я сам не могу назначить цену. Ибо мои мысли вечны, а деньги тленны. Мне нужны деньги из вечности. Вечные деньги!

— Но более всего, господа, меня интересует, почему мужчина держит сигарету у пояса, а женщина — у щеки?

— Да где ж вы такое видали, чтоб дамы курили? Каторжанка, разве что, какая-нибудь?

— В грядущем, господа! И закурят, и в штанах наподобие басурманских выхаживать будут, и подстригутся все, словно холерные. А уж их танцам, к примеру, шаман чукотский позавидует. Членовредительство сугубо!

— И откуда вам такие фантазии являются?

— В видениях, господа, прозреваю. В видениях грядущего.

— Ну, разве что в видениях! После коньяка или еще чего такого горячительного!

— В дыму и копоти все будут пребывать, словно в пекле. Днем все как один трудиться будут, а по вечерам в ящики театральные для смотрения будут заглядывать с невеселыми картинками. Про их жизнь убогую.

— Ну, ежели все трудиться будут, так они, должно быть, дворцов понастроят на каждого.

— Понастроят, да толку с этого никакого не будет. Пока один дворец будут строить, другой у них развалится. Так они все время строить и будут, пока все не развалится разом. Заместо церквей у них башни железные будут стоять, наподобие вавилонских. На них будут в небо летать. И до Луны, и до планеты Маркса долетят. Только не мы, а... мериканцы.

— Американцы, они, конечно, горады на всякие выдумки, да только супротив немцев да англичан они не потянут. Куда им на Луну! А мы, хотя и отстаем от Европы кой в чем, да не

лыком шиты. Блоху подковали, к примеру. Сам видел надпись на подкове.

— Что ж там написано?

— Выгравировано по-английски русским мастером. Он им в пику по-ихнему, да с издевочкой! Мейд ин в Ванькуверте! Что означает: сделано в Иван-городе! Вот! Не патриот ты, Пантелей Федорович, своей отчизны. С чужого голоса поешь и видения у тебя чужие. Накликаешь ты на себя беду. За такие слова в острог полагается...

— Правнук твой, Василий Тихонович, вначале в остроге победствует...

— За что же это?

— А ни за что.

— Как это: ни за что? Такого не бывает.

— А затем его пустят в расход.

— Это что еще за термин такой торговый будет?

— А это у них расстрел так будет называться.

— Ну, знаешь, Пантелеймон Федорович! Чтобы твоей ноги в моем доме не было! Мерзавец! Хриstopродавец! Бунтовщик! Фармазон проклятый!

— Эй, с-кандалички, барышня велит узнать, за что страдаете?

— За правду, ваше благородие.

— Знаем мы вас: за правду! Каналья! Вот ты, к примеру, расскажи.

— Истинно страдаю — только за неправду, на меня возведенную.

— Поведай, голубчик, не стыдись. На водку получишь.

— Иду я как-то ночью с сенокоса через лес, а по дороге на меня огненноглазый несется дракон во всю прыть. И на ем кто-то сидит, кнутищем погоняет и орет страшным голосом: «Поберегись, застрелю!» Ну, я, как полагается, вилы на дракона выставил и купчишку насадил по ошибке, а и он в меня из шестиствольного леворверчика успел-таки стрельнуть.

— Интересная... кхе-кхе-кхе история. Гранд истуар, говорю я, ма фий. Стихотвореньице по сему поводу можно сочинить. Купец на фазтоне... в лунном свете... с шестиствольным пистолетом... э... мчащийся сквозь лес. Что же дальше было, а, преступничек?

— Ну, тут мои товарищи набежали на подмогу: серебро по карманам рассовали, купчишку — в канаву, а сами — в трактир. Там-то я у себя шесть дырок в животе и обнаружил. По ним и определили.

— Вот, Мари, истинно русский человек. Молодец! Богатырь! Но! Грабить более не смей, не хорошо-с! На вот тебе рубль на пропой.

— Премного благодарен, ваше благородие.

— Ну, а ты, плешивенький, за какую неправду страдаешь?

— За изобретенье, открытье великое.

— Семинарист, стало быть? Бомбу, что ли изобрел, али что похуже?

— Пожалуй, что бомбу. Теорию новую создал, за что и страдаю.

— Теорию, говоришь? Это интересно. Что за теория?

— Исследование о том, как у нашей отчизны название украли. Пока Киевская Русь истекала кровью под татарскими саблями, в дремучих лесах на окраине башкиры, мордовы, москвиты да хазары выстроили городище. Назвали себя русскими, нашу столицу в свою Москву перенесли, а нас, истинных россиян, окраинцами обозвали.

— И сколько тебе дали годков за твое изобретение?

— Десять, ваше благородие.

— Так я, пожалуй, пропишу в сенат, чтобы тебе, мерзавцу, пожизненную каторгу дали.

— Премного благодарен, ваше благородие, за вашу доброту неизреченную.

— Ка-кой мер-за-вец! Это чтобы я в захолустье сидел под Москвой и из Киеву сверху указы получал? Не бывать сему

век! Эй, конвойный, с изобретателем построже! Я тебе покажу Окраину!

— Премногоблагодаров.

— За что вы вздумали благодарить меня, милейший?

— Фамилия моя такая — Премногоблагодаров.

— Ах, фамилия! Ваши родители, должно быть, благочестивыми были?

— Нет, фамилия у нас от прадеда. Он был благочестивым, а родители уже не совсем.

— Как же вы о родителях отзываетесь? Нехорошо-с!

— Так то были те самые Премногоблагодаровы, кои в Казанской губернии трактир содержали, а вы, стало быть, и есть тот самый Немноговздоров, коего мои родители в детстве вашем несчастном подменили — в трактире своем?

— Позвольте! Как это так — подменили? На кого подменили?

— На меня-с, милостивый государь.

— Что за вздор вы несете?

— Вот-вот! Вздор-с получается. Вы в хоромах господских пребываете, а я в трактире всю жизнь прозябаю. Несправедливость. К тому же родители ваши на каторге.

— Да что вы несете, милейший? Мои родители почил в добром здравии, я хотел сказать, — имени. А вы кто такой?

— Я — вы, а вы — я. На самом деле.

— Милостивый государь, а не позвать ли нам полицмейстера на предмет выяснения вашей личности?

— Личность моя известная. Вот портрет моей маменьки, мачехи вашей любезной. Узнаете? Сходство с вами весьма отдаленное. Ну, а на меня поглядите: сходство разительное.

— Да, известное сходство имеется. Папенька мой был большим охотником до трактирных красоток.

— Вот вы уже и папеньку моего оскорбляете.

— Помилуйте, да какой же он вам папенька? Он мой па-пень-ка!

— А откуда вам известно про то, что он ваш папенька?

— Ну, знаете ли!

— Я-то знаю, а вот вы в заблуждениях пребывали всю жизнь. Хотя вы и мой братец в некотором роде, я все же оскорблять себя не позволю. Я на вас в суд подам — за кражу моего доброго имени и состояния.

— Вот она где собака зарыта. Состояние мое вам подавай на тарелочке.

— Посмотрим, что вы запоете на суде, когда я с портретом предстану маменьки моей несчастной. Что Мария Антоновна скажет! Как на вас дочка ее поглядит?

— Да вы шантажировать меня вздумали, милейший? Противу меня заговор составлен! Вас, мерзавца, нарочно подыскали похожего на маменьку. Признавайтесь, сколько вам заплатили?

— Что же вы меня — перекупить собираетесь? От собственных родителей за тридцать тысяч серебряников предлагаете отречься?

— Ну, тридцать, пожалуй, для вас многовато, а вот за триста, я думаю, вы согласитесь портрет уступить.

— За триста, любезный мой братец, я вам, пожалуй, портрет уступлю. В память о маменьке.

— С расписочкой.

— Какой же?

— А той, что вы — Премногоблагодаров и никто другой более.

— Ну, за расписочку, пожалуй, что мало.

— Кабы вы меня не подловили с портретом вашим перед свадьбой, я вам, мерзавцу, и гроша бы не дал. На тебе триста и исчезни с глаз долой. Провались!

— Премного благодарен. Заезжайте ко мне как-нибудь на квартиру. У меня портретов родителей ваших по стенам развешано на все тридцать тысяч, а то — и поболее.

— Что мне твои пардоны, Афанасий! Ты вот стань предом мною заместо ступеньки, а я на коляску взойду.

— Это что же вы, Агафон Степаныч, басурманский обычай в христианской стране возрождаете? По живой спине прохаживаться вздумали?

— Чтобы не говорили, будто я в своей карьере по трупам шагаю.

— Не повредила бы вам сия процедура.

— Это об вашей спине, милейший, вам нужно бояться, а мне об чем беспокоиться?

— Я не о спине вашей волнуясь, а . . . о репутации вашей беспокоюсь. Как бы вам не прослыть ретроградом.

— Так ты меня, милейший, ретроградом вздумал обзывать?!

— Ваше превосходительство, ни в коем случае. Только вот . . . приватно, не при всех бы.

— Приватно, милейший, я и сам, может быть, становлюсь пред супругой своею, когда она эдаким лебедем восходит на ложе любви, как сказал бы поэт.

— Эх, была — ни была! Становись, Агафон Степанович, только не на почки. Они у меня больные.

— Так я стопой своею, может, и вылечу тебя от напасти твоей, а?

— Оно конечно, только за такое вот страдание к жалованью прибавить бы надобно.

— Ну, ты — нахал, Афанасий! Я тебя выгонять собираюсь, ты у меня прощенье вымаливаешь и под шумок ангельских крыл моего всепрощенья аферу вздумал повернуть! Ну, да ладно, пошутил, не нагибайся. Верность твою собачью проверял. Молодец, выдержал экзамен.

— Да я за вас, ваше превосходительство, готов ковриком по утрам лежать!

— А по вечерам? Шучу, шучу! Вот, Афанасий, ты меня и «вашим превосходительством» выучился называть, а то все «Агафоном Степановичем» обзывался.

— Нешто христианским именем называть оскорбительно?

— Не-по-чину-с!

— Ваше превосходительство, Агафон Степанович, да разве мы не в одном полку служили, не одну девку делили? А помнишь, как тебя картами по носу отщелкали заместо долга? Аспид однорогий, Агафоса, вот кто ты!

— Бунт на ко-ле-нях, мя-теж! Эдак ты меня на дуэль завтра вызовешь.

— Знаешь, подлец, что не вызову, вот и измываешься.

— Ну, за подлеца я для тебя что-нибудь до вечера придумаю, а . . . аспид однорогий — это смешно. Да только почему, милый Афанасий Сергеевич, однорогий? Ну, да ладно, прощаю. Выдумает, шельма! Пожалуй, завтра Ивана Феодосьевича эдак обзову.

— Угостили бы водочкой, нет, коньяком, господа. Такое про себя наплету! Во всем признаюсь! Как на княгиню Велиховскую дерзко засматривался, когда она в карете проезжала. Да что там засматривался? Желал! Самым непристойным образом в златостенной спальне обладать. Вот до какого бесчестия мысли дошла микроба человеческая. Тьфу!

— Эй, пьяньский! Ты что тут про княгиню Велиховскую плел?

— Я? Я ничего! Спьяну фамилию произнесешь, а что и про что — уже ветер унес.

— Так вот тебе мой совет, философ: вон дом твоей возлюбленной. Ты зайди туда и швейцару передай письмо, а сам сядь в кресло с бархатной обивкой и, когда княгиня сбежит к тебе по лестнице, ты заложи ногу за ногу и, поигрывая краем своей дерюжинки, скажи ей, что мол, Судьба явилась требовать свое. И требуй. Что хошь!

— Да не рехнулись вы часом? Меня от ваших слов до костей души проняло.

— Делай, болван, что велют. Один раз в жизни шанс у тебя выпал.

— Да кто вы такой?

— Я — тоже князь. В своем роде. Да не бойся, пере-крести, не исчезну.

— Да как вы мысль мою прочли?

— Иди, дурак! Я догадливый. Княгиня вначале попытается от тебя сторублевкой отделаться, а ты не бери — больше получишь. Она тебя к зеркалу подведет, покажет, какая она чистая, красивая, а ты — невымытый. Так ты ей вели умыть тебя, одколоном французским обрызгать. Все сделает по письму. На вот, возьми. Можешь взглянуть, что в нем написано.

— Да ничего тут и нету, одна белизна.

— Княгиня сией белизны почище приговора смертного испугается. Иди, болван, не то поколочу.

— Да уж лучше поколотите. Все равно не пойду.

— Эх ты, философ, уже и поверил. Пошутил я, болван.

— Вы . . . вы . . . вы кто такая?

— Я? Я — нечто вроде апсары.

— Это как понимать изволите?

— Ничего понимать не нужно — лови мгновение.

— Какое еще мгновение?

— А вот меня, к примеру.

— Каким образом вы у меня оказались в постели?

— Я — апсара! Этим все сказано.

— Что сказано? Кем сказано?

— Я — воплощенное ваше желание. Пользуйтесь!

— Кем воплощенное?

— Откуда мне знать. Я — всего лишь апсара. Не вы ли желали по утрам эдакую стервочку в одних только чулках, да чтобы на столе шампанское пенилось в бокале. Вот она я — перед вами, а шампанское там — на столе.

— Да, я бы выпил глоточек шампанского, а вот с вами, мадмуазель, как-то боязно общаться. Ведь вас вроде нету, не так ли?

— Ну почему ж меня нету? Еще как есть! Вот она я, поглядите. Да вы прикоснитесь, не бойтесь. Я наощупь живая — вполне.

— Но вы все же из ничего состоите — как будто?

— Да из одних только ваших желаний.

— Ну, а ежели вас надрезать да посмотреть, что внутри, а?

— Вы, я вижу, не джентельмен, а исследователь какой-то. Неужели вы даму разрезать собираетесь? Фи!

— Как-то развязновато вы себя ведете — в чужой постели. У вас на том свете все такие нахальные?

— Мы с вами на этом свете, а как там ведут себя, не знаю. Я вашего желанья воплощенье, а не того света, как вы изволили выразиться.

— А как насчет платы? Подарочков всяческих там?

— Помилуйте, вы что меня, за проститутку принимаете? Я еще девиственница, милейший!

— Очень похоже, сударыня. Одеянье на вас весьма скромное, однако, со вкусом.

— По вашему вкусу воплощалась.

— Надолго воплотились?

— Как пожелаете. Да вы не спровадить меня собрались?

— Помилуйте, сударыня!

— Не отпирайтесь, я ваших желаний воплощенье. Все знаю, обо всем догадываюсь, все исполняю. Исчезаю. Оп-ля!

— Куда же вы, мадмуазель? Исчезла, проклятая. Фух! Шампанское с собой прихватила, прохвостка. Пожалуй бы, надобно квартиру освятить, а, впрочем, повременю. Ежели завтра появится, я философский диспут с ней заведу. Поговорю о Гельвеции, да, о Гельвеции, скажем.

— Такого не бывает, — говорит подвыпивший господин в пальто с меховым воротником, — такого не бывает, а если и бывает, то все равно не бывает.

Неожиданно распаивается резная дверь за его спиной.

— Такого не бывает, — говорит подвыпивший господин в пальто с меховым воротником, — такого не бывает, а если и бывает, а если и бывает, то все равно не бывает.

Неожиданно распаивается резная дверь за его спиной и чья-то рука затаскивает его за ворот в подъезд. Раздаются удары, крики, и господин уже без пальто вылетает на улицу с порванным сюртуком и шляпой, надвинутой на шею.

— А вот такое, — указывает на дверь, — а вот такое бывает.

## ИМПРОВИЗАТОРЫ

— Куда прикажете отвезти, ваше благородие?

— К твоему родителю — медведю.

— Родитель мой похож был на медведя, да! Служил ящиком, а родительницей оказалась проезжая княгиня из Гольштинии. Промеж ними случился роман по пути. Княгинюшка выкупила отца из крепости и увезла с собой в Германию, а меня позабыла — в поспешестве.

— Врешь ты, братец, все! С такой-то рожей тебе купчишек, разве что, останавливать в лесу, а не порядочных людей развозить по ресторациям, куда мы и направляемся в сей момент.

— Бывало и такое. Я не единожды являлся на наш свет. Обезьяном, к примеру, бывал — рангутаном.

— Так ты наш свет уже своим считаешь, обезьяна?

— Я говорящей был обезьяной. В свое время Аристотелем был и даже Платоном, а нынче малость поглупел, однако, есть еще порох в голове — остался. В бытность мою императором Нервой...

— Так ты, стало быть, всем успел поперебывать прежде того, как дураком умудрился родиться?

— Русский народ, ваше благородие, до Адама и Евы уже существование вел от неизвестного ангела и... Лилит. Француженки, должно быть.

— На другой планете, разве что?

— Да планида у нас другая. У всяческого народа одна видимость заместо всего, а у нашего народа планида на спине заместо котомки, и оный народ, наподобии Атланта единого, идет незнамо куда.

— Да как же он, ваш Атлант, не слезая с печи, идти еще куда-то умудряется?

— Метахвизика тут, ваше благородие, сугубая.

— Ты, братец, нынче крепостной или вольный? Кто твой хозяин?

— Беглый я, ваше благородие. Стало быть, не вольный, а свободный.

— Кто ж тебя премудростям твоим выучил?

— Самоучка я, самородок, можно сказать. Проезжий немец за меня восемь пудов отдавал серебра — за то, чтоб я в академии ихней про себя рассказывал. Вы, говорит, Уникаль! Ну, тут наш барин его и спрашивает, что, мол, он думает о русском помещике, ежели даже ничтожество вроде меня, — Идеаль? Немец возьми и скажи: помещик, мол, ваш ленив и неотесан. Ну тут я, как был, так меня и не стало. Прыгнул в оконце и деру дал в лес — купчишек останавливать, а оттуда вскорости в Пительбург. Теперь вот с кафедры своей извозничьей выступаю — проповедую будизм. Народ пробуждаю от спячки.

— Ну, а я, братец ты мой, письменно из Италии написал, чтобы меня встретил какой-нибудь дурак и позабавил.

— Да, ваше благородие, тут вертелся какой-то извозчик. Николая Васильевича спрашивал. Вас, должно быть, но другой вашим именем назвался. Плогавенький такой господин оказался. Однако на вас похожий, не примите за оскорбление. Вы-то попрезентабельней будете, подородней.

— Ах, подлец, опередил! Я, знаешь ли, двойник известнейшего писателя. Всюду за ним следую, пашквилирую его в журналах. Нас часто путают. Я деньги под его имя занимаю, а он меня в историйки свои вставляет и со мною тоже неприятности происходит. Я как-то залез на дерево с подзорной трубой — понаблюдать за двойником. Мерзавец-итальянец любезничать вздумал с девицей внизу. Она на дерево, а он за ней. «Дай руку, — говорит, ей — жизнь моя!» Ну, а она долезла до меня, впилась мне в рот своим языком, как ведьма, обволокла собой, словно спрутиха, потом вскарабкалась по мне наверх и на голову стала босыми ногами. «На обратном пути я тобою займусь!» — объявил мне мерзавец. Ногами на голову мне тоже наступил и далее полез за своей пассией, о чем я прочел перед тем через подзорную трубу в записной книжке моего соперника, отсутствующего в кабинете в сей момент. Так что, милейший, меня не пере-врешь. Нет, не переврешь!

— Федор Федорыч, говорят, вы по имению на кабане развезаете.

— А хоть и на козле, кому какое дело!

— Ну, в этом большой беда нету. Да только за што вы урядника в плуг впрягли и поле вспахали на нем?

— Для доказательства тезису, что он, подлец, здоровее кобылы.

— Еще говорят, будто вы кобылу на воздушном шаре поднимали, и над домом губернатора она у вас мочилась и лошадиные яблоки роняла.

— Не кобылу, а кобела! И не учил я его мочиться, а только пивом напоил. А то, что балкон обгадил, так то от страху. Нешто можно в кобела из ружий палить?

— Его превосходительство утверждает, будто вы то рассчитали, что в него начнут палить, да и выдрессировали на подобное безобразия.

— А ты поди докажи — хоть и в суде. Он в мое имущество стрелял.

— Над свое землей стрелял, а ваш кобел на нее гадил.

— Земля-то, может, и его, да воздух — божий!

— Позвольте затронуть одну нежнейшую струну?

— Да хоть две!

— Ну, тогда один деликатный вопросик, вопросишко, я был сказал. Сколько вы стоите?

— Вы имеете в виду мое состояние, милейший?

— Никоим образом! Я имею в виду вашу стоимость, как человека, если можно так выразиться поделикатней. Стоимость вашей душевной субстанции, так сказать.

— Пожалуй что тысяч... шесть-де-сят, а то и все сто. Однако, продавать не собираюсь. Чай, не крепостной!

— Стало быть, от шестидесяти до ста?

— Тысяч, милостивый государь!

— Понимаю, понимаю! Я — нечто вроде ученого. Занимаюсь исследованием человеческих душ.

— Душевед, стало быть?

— Да, душевед, можно так сказать.

— Ну и... сколько...

— Моя душа стоит, вы спросите? Оказывается — денег таких на земле не найдется.

— Од-на-ко! Вы себя, часом, не переоцениваете?

— А вот вы сказали... шестьдесят.

— Я сто назвал!

— Ну хорошо, сто. Но не продаете за сто, а за сколько уступите?

— А сколько предложите?

— Скажем, сто пятьдесят.

— А почему не все двести?

— Ежели я скажу двести, так вы все триста заломите.

— И то верно!  
— Так за двести согласны?  
— Пожалуй, что и маловато.  
— Можно выставить на аукцион. Раз товар имеется, найдется и покупатель.

— Однако ваша шутка переходит границы, дозволенные приличием. Я, милостивый государь, себя «товаром» не позволю обзывать. Так и до пистолетов недолго дойти, до са-бель!

— Совершенно с вами согласен. Шутки подобного рода недопустимы в приличном обществе. Но я не шучу. Вот деньги. Здесь, в саквояже, полмиллиона. Они ваши.

— Э! а...  
— Да-да, они ваши. В вашем полном распоряжении.  
— В моем, говорите? А? Как же душа?  
— А что душа?  
— Это, что же вы... это... как его — черт?  
— Помилуйте, в каком веке вы живете? Я вам сделку предлагаю на идеальном уровне, если можно так выразиться.  
— Но деньги, надеюсь, реальные?  
— Конечно, реальные, только фальшивые.  
— Как так фальшивые?

— Ну, а вы что думали — за вашу никчемную душу пятьсот тысяч отвалит — за просто так? Да где ж вы нынче таких дураков-то отыщете?

— Значит, шу-ти-ли? Никак снова порохом запахло. К барьеру!

— Никак нет-с, не шутил. Когда предлагал, не шутил, а что фальшивые, признаюсь, пошутил. Они настоящие. Да вы не хотите, уже передумали, готовы в кусты.

— Милостивый государь, прежде чем согласиться, я намерен узнать, отчего вы меня за пятьсот тысяч торгуете, а на себя и вовсе не ставите цену?

— Ну, во-первых, вы за себя даже меньше поставили, а во-вторых, я не за деньги готов продавать свою душу, а... за товар, но особенный.

— За какой же?  
— За бессмертие, вот!  
— Я вам не лекарь, милостивый государь, и не аптекарь. Да и где вы слышали, чтобы бессмертием торговали, словно овсом на базаре?

— Вы — не лекарь, да, но я ищу в самых неожиданных и... несуразных местах. Всех расспрашиваю, всем предлагаю услуги и... деньги. Авось, кто-нибудь и подскажет кашеёво средство.

— Однако, вы — чудак! Давайте выпьем с вами на брудершафт.

— Я, милостивый государь, как вы изволите часто повторять, с человеком низшего достоинства не опускаюсь пить на брудершафт.

— Ну тогда — к барьеру!  
— У меня в саквояже, милейший, полмиллиона имеется, а вы с вашими шестьюдесятью тысячами мне дуэль предлагаете. Не-по-чину-с! Хотите пять тысяч?

— Это как же?  
— А вот так: я даю, а вы берете.  
— Просто так?  
— Ну почему же просто так? Не за так, а за то, что я даю, а вы... берете. Унизительно для бывшего гусара, не так ли?  
— К барьеру!

— Это я вас могу куда угодно, а вы меня — нет.  
— Это почему же, позволю спросить?

— Потому что именьице ваше заложено и перезаложено, а ваши расписочки на пятьдесят тысяч рублей у меня. Так что по моему звончку сейчас явится пристав и вас за белые ручки да в долговую тюрьму. Пожалуй, я вам пяти тысяч не дам. Пятьсот рублей с вас достаточно? Возьмете?

— Возьму-с! Что уж корчить из себя благородного. Без денег-го!

— Вот мы и выяснили, сколько вы стоите. По благородству душевного устройства даю вам пятьсот, а так и полсотни, пожалуй что много.

— Господин импровизатор, как это у вас здорово выходит? Вы что же: учились или от Бога талант имеете?

— Да хоть и учится человек, а все от Бога.  
— Не хотите ли выпить с нами?

— Почему бы не выпить? На дармовщину даже медведи на ярмарке пьют. В Казани, к примеру, медведи Прошка и Прокруст... водочки тянут, попляшут и — спать до утра. Да что там медведи! Вот и вам — хотите — золотой проглотчу, а то и два?

— Ну, золотые и мы морозды глотать. Вы лучше симпривизируйте нам что-нибудь.

— На любую тему, господа. Вы только назовите.  
— Скажем, я беден, но горд, и за копейку не нагнусь.  
— Ну, а за десять?

— На сцене вы отвечали пространней.  
— Задайте что-нибудь еще.

— Честность, скажем... не помеха. Да, честность не помеха.

— Кристальной честности мошенник! Ужаснейший пройдох! Прохвост первостатейнейший! Взятки берет после того, как встанешь перед ним на колени да заумоляешь его, каналью, до седьмого поту.

— Ну, вы нашему начальнику не в бровь, а в глаз попали.

— Я в любом трактире лучший ужин смогу заработать — за час. Цены мне бы не было, если б копил, а так пропиваю с друзьями-коллегами. Я ведь — дурак, провизатор гороховый. Шут, господа!

— Пожалуй, ты заработал у нас золотой, да вот только у нас его нет у самих. Вы бы заняли нам или буфетчику... дрянн человечешко... заплатили бы, а, провизатор!

— Ну что ж, господа, я вижу, коллеги мы с вами.

— Коллеги, милейший. Чиновники мы, а мундиры гусарские — это для форсу. Чтобы начальству назавтра доложили, — видели в опоре нас, а мы говорим — то братья родные, похожи на нас, близнецы. Почет, уважение, боязнь!

— Я вас угощаю! Буфетчик, шампанское нам! Кутить до утра! Наше актерское счастье в виде, господа!

— Наше чиновничье счастье, пожалуй, в другом.

— Счастье от бесчестья, господа. Пока ты несчастен, ты — честен, а как подфартило — мошенник. Счастье не ловят, его отнимают. Вам для полного счастья чего не хватает?

— Орденок бы в петлицу да тайного советничка...

— Ну, орденок — это просто! Нищему дайте полтинник, а затем заберите назад, да и мелочь его всю заставьте отдать. Назавтра вам — орден в петлицу. Нежданно!

— Всего-то? Ну, нищему от сего не убудет.

— Действительно. Можно его другим днем одарить.

— Ну, это уже лишнее.

— Вы делаете успехи. Вам сейчас уже можно орден давать.

— Ну, а тайного... тайного-то советника как получить?

— За тайного нужно сиротку обидеть.

— Сиротку оби... Да-как-же-так?

— А вот так — взять, и обидеть.

— Нет, сиротку нельзя обижать, никак нельзя! Так что же — на всю жизнь оставаться без тайного?

— А вы послужите примерно по чести и совести — лет эдак тридцать.

— Ну уж нет! Сиротку! А нельзя ли чиновника какого-нибудь нахального обидеть заместо дитяти невинного? Приятеля моего, например?

— Нет, только сиротку. Чиновника всякий обидит.

— Экая жалость! Какую сиротку, а то бывают такие сиротки! Сто очков вперед дадут любой столичной конфузнице. И все-таки: как можно обижать?

— Да обижать-то не вы будете, другие. Обидеть всегда найдется кому. Вам лишь согласие надобно дать.

— Ах, другие! А кто такие?

— Да родственники ейные.

— Родственники, говорите? Ну, из любопытству праздного только как обидят, кто обидит?

— Наследство отымут после смерти родителя.

— А кто таков родитель? Какого звания?

— Вы и будете родителем сим несчастным.

— Да у меня не только детей, а и жены не имеется. Я только собираюсь жениться.

— Ну вот, женитесь, через годик дочку родите, а еще через пару лет помрет ваша жена. Вы еще пару годков протяните да и за нею последуете. Родственники сиротку и обидят — наследство отымут.

— Я лучше жениться и вовсе не буду.

— Правильно, дольше проживете.

— Нельзя ли без вредительства тайного заполучить?

— Ну как же нельзя, — можно. Еще как можно! Да только побойтесь.

— Да вы уж поведайте.

— На днях к вам сановник прибудет из Санкта с ревизией. Ваш начальник закатит обед в ресторации для всех в его честь. Вы поднимитесь с бокалом для тоста да и выльете начальнику вашему красное вино за воротник, а затем провозгласите, что будете лить вино за ворогник до тех пор, пока он не перестанет с вашей невестой в коляске раскатывать.

— Да меня от ваших слов холодным потом прошибло.

— А вы что думали, — тайного советника легко ли получить?

— Что: и взаправду развезжает в коляске с мерзавцем?

— Для дела разочек прокатится. Ничего с нею не станется.

— Это как же: не станется! Еще как станется! У Тимофея Харламповича коляска для сих целей приспособлена. Дом свиданий, можно сказать, на колесах. Сколько уже пострадало порядочных женщин, посредством коляски этой, проклятой.

— Вот вы и отомстите за всех разом.

— За всех страдать не желаю. За тайного, разве что!

— За тайного, разумеется. После сего сказанного вы поведаете ревизору о прочих прегрешениях вашего начальника.

— Да неужто ревизор меня выслушивать станет?

— Еще как станет! У него самого жена в колясках развезжает, как невеста ваша неверная.

— Далась вам эта коляска! Неужели нельзя без нее обойтись?

— Никак нельзя! Сами напросились. Кто вас тянул за язык правду о невесте вашей сообщать. Зато ревизор вас за правду сию наградит Петербургом, со временем тайным, да и место подыщет получше.

— Да неужто в самом Петербурге сподоблюсь служить?

— Следобитесь, а как же! Главное не оробеть. Ну, а коли боитесь...

— Боязно, весьма!

— Тогда имуществице свое распродайте, экипажик перед ресторацией придержите, да и деру.

— Так что же это — не выйдет?

— Может и не выйдет, так деру, а коли верите мне, то и выйдет. Так вы на этом экипажике в Петербург вместе с ревизором и ука-ги-те. Начальника вашего снимут с должности, вас — в Петербург, а за вами — слушок. Так, мол, и так, ничего не боится — правду режет в глаза, будто с самим царем на брудершафты пивал. Входите вы в присутствие эдаким лихарем. Начальство переводить вас станет с повышением, чтобы избавиться.

— Умно, ой, как умно! Ну, а как в обществе умным прослыть? Еще более.

— Для поумнения необходимо...

— Обидеть кого?

— Да, пожалуй что, и обидеть.

— Близкого человека?

— Да уж ближе и не придумаешь. Самого себя выпороть следует.

— Да как же я сам себя выпорю?

— Зачем же самому? Цыганка вас за трешку не токмо выпорет, а и в саже вымажет с ног до головы. Враз поумнеете!

— На всякого небитого у нас приходится по десять битых дураков. Что же они не умнеют?

— Дураки, они разве что еще более не глупеют, а умному человеку все впрок. К тому же цыганка искусница великая, так что и удовольствие получите от нее. Нежданное.

— Ну, а... дальше? Дальше как жить? Кому вино за воротник лить?

— А дальше не жить.

— Как так, — не жить?!

— А вот так, — умирать.

— Это зачем же?

— Время прищепет.

— Что еще за пирог такой, время? Прищепет! А нельзя, чтоб не прищепило? Годочков бы на сорок отсрочку получить.

— Почему нельзя? Можно! Да только нужно сиротку обидеть.

— Опять сиротку?!

— Другую сиротку, чужую.

— И что же: наследства лишить?

— Нет, снасилничать.

— Да что же это такое?! Так и преступать всю жизнь законы божьи?

— Поздно вспомнил. Чем нищий от сиротки богатой отличается?

— Ну, нищий — мерзавец чумазый, ему поделом, а сиротку за что же?

— За удовольствие.

— Какое же тут удовольствие: деток малых растлевать?

— Ну, так уж и малых! Сиротка осьмнадцати лет.

— Осьмнадцати, говорите? Ну, это другое дело. Да чем же она жизнь мою продлит?

— Свою жизнью. Она-то вскорости зачахнет, а вы проживете. Да только влюбитесь в нее и всю оставшуюся жизнь горевать по ней будете.

— А без горя нельзя?

— Без горя нельзя, никак нельзя. Зато куба-рем по жизни прокатитесь, не хуже кометы разгульной.

— Ой, больно! Душа вся горит: как подступиться, как вылить вино? Неужели нельзя без страдания прожить?

— Нет, без страданий нельзя! Нет, нельзя!

— Я бы еще раз женился.

— Напрасно! Я бы на вашем месте подумал, прежде чем на молодой жениться. Еще раз.

— Считаете, — изменит?

— Изменит! — Это еще мягко сказано.

— Да как же сию препакость пресечь?

— А никак! Вот Иван Сергеевич нанял меня однажды прогипнотировать свою жену, так она в таких вольностях понапризнавалась во сне гипнотичном, что и меня, выдавшего виды человека, изумила, а уж у Ивана Сергеевича волосы и вовсе встали дыбом. Он вместо того, чтобы за плеть да жену свою по дому погонять, бросился к обидчику — мстить. «Помилуйте, — говорит ему Кузьма Платонович, — у меня с Верой Ефимовой ангажман, не отрицаю, да вы-то тут при чем?» «Какая такая Вера Ефимовна? — орет Иван Сергеевич. — Мою жену зовут Анфисой!» «Правильно, вашу жену зовут Анфисой Васильевной, у меня грандплеэьир с Верой Ефимовной, а вы-то тут при чем?» Едва разобрались что к чему. Оказывается, Вера Ефимовна приехала за день до того к жене Ивана Сергеевича да ей наболтала подробностей, а та, другая, тоже хороша: слушала, шельма, и запоминала. Вот и гипнотируй после этого дам!

— Все-таки любопытно было бы прогипнотировать будущую супругу. Да вдруг вас не окажется на месте в Петербурге.

— Я вам адресочек оставлю гишпанской гадалки. У нее книга имеется с зеркальными текстами. В нее вы посмотрите и все про свою супругу неверную разузнаете. Не в рассказе услышите, а уви-ди-те со всеми подробностями, словно сквозь решетку в серале.

- Так и буду мучаться от сего?
- По малейшему поводу будете бегать к гадалке да изводить себя картинами ейной неверности.
- А...
- Наказать ее не посмеете. Уж больно знатна будет ваша супруга да богата.
- Бо-га-та! Кака сладость в слове сим заключена!
- В слове, может быть, а в жизни — все наоборот.

## МАШИНА ДЛЯ СПАСЕНИЯ ДУШИ

Будучи следователем киевской жандармерии мне довелось вести дело, связанное с сектой поклонников так называемой Истины. Оно началось с довольно странного для того времени случая оплевания двух или трех высокопоставленных и пару дюжин так себе особ. До подобного цинизма в те годы еще не доходили. Позднее пришлось, скажем, вести дело одного революционера; так он, мерзавец, свое ремесло изучал по «Бесам» Достоевского, использовал как инструкцию, говорил только, а что пойдет другим путем, и не мышшей будет в иконы запускать или огненных крыс во дворцы, а и демонов в души! Короче говоря, появилась в Киеве мода оплевывать честных граждан. Преступники, такие же, впрочем, обыватели, как и оплеванные, утверждали, будто сотворить им сие было велено свыше некоей Машиной для Спасения Души или Истиной, как ее называли другие.

Вскоре об этой самой Истине стало известно еще из одного источника. Настоятель одного из монастырей в Крыму прислал в Синод жалобу на епархиальное начальство, покрывающее секту идолопоклонников, обосновавшуюся неподалеку от обители. Он весьма осторожно со всяческими экзотиками и извинениями обвинял епископа Варлаама в том, что тот потворствует некоему идолу, именуемому Истиной, творить беззакония. Обвинение в столь странном заступничестве было воспринято в Синоде за очередную блажь выжившего из ума настоятеля и никаких мер к сему не было принято, однако письмо было переправлено в киевскую жандармерию, где и попало к моему начальнику полковнику Дегтяреву, человеку въедливому и влипчивому, как и его фамилия, кой и поручил мне расследование, но а я, в свою очередь, тоже приобрел себе славу опытного дотошника и скрупулезника и этим занялся без промедления.

В первую очередь я решил посетить настоятеля монастыря, написавшего жалобу в Синод. Я сам искренне верую в Господа нашего Иисуса Христа, но церковным человеком в полном смысле этого слова не являюсь из-за особенностей профессии «ловца человеков». Здесь же я впервые понял, вернее, ощутил то, что в христианстве называют благодатью.

Маленький, неуклюжий, словно ходячий бочонок, настоятель с белой всклокоченной бородой носился по двору монастыря, временами становясь похожим на птицу в своей развевающейся мантии. Он умудрялся быть в нескольких местах одновременно и казалось, что даже лики святых улыбаются вслед этой добродушной комете.

Савватий был сыном бедного дьячка. Однажды отец повел маленького Ваню, таково было мирское имя Савватия, в барский дом, где перед очами впечатлительного мальчика предстала как бы вся вселенная: медленно вращался огромный глобус в полутьме... перламутровый дракон выползал из бездонной черноты лакированного шкафа, усыпанного блестками инкрусталинок, словно ночное небо звездами... сияющий хрустальный ангел спускался с потолка... на муаровой скатерти мерцала вышитая парчовыми нитками Европа... на глянцевого пола было страшно ступить, словно на воду подземной реки... с фарфоровой китайской вазы выступал осьминог, страшный, как черт... сверкающий позолотой узор рыцаря готов был шагнуть со стены и поразить копьем змею, извивавшуюся в кустах орнамента персидского ковра.

Но более всего его поразило Седьмое Небо, как он назвал горку из красного дерева со множеством миниатюрных диковинок за ней. На ее вершине находилась позолоченная фи-

гура Юпитера на троне, олицетворяющая в глазах ребенка в тот момент Бога-Отца. В довершение всего барыня выпала на стол горсть золотых дублонов из коллекции мужа — бывшего морского офицера. Барчонок в тот вечер был не в меру капризен. Он швырнулся монетами, заставлял горничную избивать лошадку, вольтижировал отцовским кортиком, а закончил героем войны 12-го года, что, конечно, случилось уже много лет спустя.

Всю дорогу домой Ваня делился с отцом впечатлениями, но неожиданно дьякон охладил излишние восторга своего сына заявлением, что все это — грех. «Как так, — грех? — вскричал мальчик. — Что же они — все в грехе пребывают?» «Нет, — ответил ему отец, — они не в грехе, ибо твоему Денису (так звали барчонок) все досталось с божьего благословенья по наследству, а ты от желания иметь такое же великолепие дойдешь до преступления. На самого царя руку подымешь!» — добавил отец для большего назидания, зная о младенческом представлении своего сына об императоре, как о Боге-Отце, а о его наследнике, как о Христе, и о Святом Духе, как о фельдбергере, мчащемся через всю страну на тройке с указами.

Придя домой, Ваня обнаружил в кармане золотую монету. Неожиданное, обжигающее душу желание оставить у себя эту монету, похожую на искру из небесного огня, вызвало у него горячку такой силы, что он пролежал две недели в бреду, а выйдя из него, тотчас отнес злополучную монету в поместье, за что и получил ее в дар от сердобольной барыни. «С той поры, — завершил свой рассказ настоятель, — Господь всегда к этой монете добавляет в шкатулку столько рублей, сколько необходимо в сей момент для обители. Так что деньги у нас не переводятся».

Денег, на самом деле, едва-едва хватало на нужды обители, а все «небесные поступления» из шкатулки Савватия уходило в епархиальную кассу. Стражем монастырской «сокровищницы» Савватий для своего смирения назначил самого сребролюбивого инок. Звали его отцом Варнавой. Одного глаза у него не было, а другой от какой-то чудовищной травмы лица, если его можно было так назвать, переместился как бы на середину, отчего его и прозвали Циклопом. Он носил обруч на голове, и к нему была прикреплена линза, отчего его единственный глаз увеличивался до чудовищных размеров, и этим своим зраком он, казалось, прозревал даже сквозь стены и обо всем докладывал епископу Варлааму, который ненавидел Савватия за «смирение, доходящее до наглости», а с некоторых пор стал также верным последователем Истины и даже дослужился у Идола до права носить звание левой Руки.

Идол строит всяческие козни Савватию и даже пытался через епископа Варлаама добиться закрытия обители. Савватий рассказал мне о том, что поклонники идола склонили на свою сторону не только епископа, но и многих чиновников в Симферополе и в Киеве. Последователи Истины стали разбиваться на пятерки, наподобие боевых дружин, и даже организовали нечто вроде акционерного общества Взаимовспоможения со своим банком и даже газетой «Истиной».

По мере приближенья к Истине в рассказах попутчиков, лицезревших ее воочию, стали вырисовываться ее очертания. Рассказывали о том, что машина предсказывает будущее, угадывает прошлое и даже меняет судьбы людей. Иные, впрочем, утверждали, что она частенько ошибается в своих предсказаниях, а когда ее в этом упрекают, то она только посмеивается и утверждает, что проверяет своих поклонников на верность, смогут ли те вынести-де — такое испытание.

Довольно известный в Одессе бретер и картежник встретил на пути к Истине цыганку, и она предсказала ему, что он вскорости будет усыпан золотом с ног до головы, что и исполнилось на следующий день. Когда машина услышала голос поручика, она воскликнула: «Сыпь, Ахмедка!» Означенный татарин тут же полез в кожаную суму, извлек из нее горсть золотых монет и швырнул незадачливому поручику в лицо, но тому ничего не досталось, ибо толпа мгновенно расхватала все монеты, однако поручик уверовал в Истину и стал ее первейшим поклонником, за что и получал от нее подачки

на карты и шампанское в салоне гостиницы, которую Ахмедка содержал для паломников. Савватий предупредил меня о том, что цыганки, шныряющие по дороге к Истине, получают предварительные инструкции и деньги от того же Ахмедки. Сам Ахмедка в городе из нищего, каким он представлялся перед Истиной, преобразался в Ахмеда Хасановича, господина во фраке, на дорогой коляске с турецкой сигарой в зубах. Он был хозяином того клочка земли, вернее, склона горы, на котором находился идол, высеченный в скале.

На крутом склоне горы выделялась замшелая физиономия каменного истукана. Рот идола находился на уровне среднего роста посетителя или поклонника этой самой Истины, так что невольно приходилось склоняться. Облик у Истины, надо сказать, был глумливый и более походил на разбойничью рожу, чем на лик благочестивого старца, каким его видели многочисленные почитатели. Из узкой щели шерба того рта раздавались звуки человеческого голоса. «Я — дверь к познанию Истины, — вещал истукан, — щель во Времени, прореха в Материи! Аз емь машина для спасения души!» Богословие у машины было весьма туманное и переменчивое, однако весьма действенное. Голос исходил из монолитной скалы, единственная щель в которую была во рту истукана. На все вопросы о Боге машина отвечала весьма уклончиво. «Несть спасения, кроме меня!» Более всего она любила посудачить о наших грехах, всех разоблачить, а себя нахвалить. Метода у нее была простая и со всеми одинаковая: ежели посетитель рассказывал, что собирается жениться, ему настоятельно предлагалось идти в монастырь, а тому, кто собрался в монастырь, предлагалось жениться.

Одному из своих поклонников идол велел вернуться домой, лечь в гроб и умереть. Поскольку тот был богатым купцом, то и умирать решил по-купчески: в шикарном гробу, похожем на ладью, из красного дерева, а также с цыганами, икрой и шампанским, но так как от черной икры и развеселого пения не умирают, то он решил в еде и питье себя ограничить, цыган удалить, а вместо них пригласить монахиню для чтения псалтири по «живопокойному». Первое же ночное бдение закончилось известной всем историей, ибо монахиня прилегла на секунду к покойнику для облегчения душевных мук и уже не вставала от него до утра. Монахиней оказалась актриса местного театра, нанятая сердобольными родственниками для оживления покойника, и так она ему прищлась по душе, что сей новоявленный Лазарь вышел из гроба, однако монашка сразу же была удалена теми же родственниками, и купец с досады решил доумереть до конца, но прежде вновь спросить совета у Истины, — не застрелиться ли ему, прежде чем ложиться во гроб.

Воспользовавшись чудачеством купца, компаньоны довели его до полного разорения, и самый проворный из них выкупил его долю за бесценку. В результате распродажи имущества у незадачливого последователя Истины осталось денег ровно столько, чтобы добраться до Симферополя, откуда ему пришлось совершить паломничество к Истине пешком, и там его взору предстал удачливый компаньон, который передавал Ахмедке деньги с заверениями благодарности, и воскресший, наконец, догадался о сговоре. Он, однако, не растерялся, а тут же организовал шныряющих вокруг оборванцев в труппу и создал из них Оперу Нищих. Они распевали оперные арии под окнами богатых домовладельцев до тех пор, пока от них не откупались. С каждого удачно разыгранного спектакля купец брал четвертину со сборов и вскоре собрал сумму, достаточную, чтобы начать новое дело. Но!

Несмотря на явное свидетельство сговора, сей купец продолжал, как и прежде, принимать наставления от Истины, кои выполнял уже по своему усмотрению, в чем и старательно каялся, за что всякий раз получал нагоняй от идола, который, впрочем, его прощал за верность и послушание.

Машина любила окружать себя учеными людьми и в учености их же и попрекать. «Ну, что тебе твоя ученость дала, а? Вырос ты от нее на три вершка или до луны возвысился в духовности так, что уже и камень с ейной иллюзорности смог достать да и в дело строительства храма души употребить? То-то! Истина всего дороже, а знания твои — все равно что бурьян! Перекапти-поле! Высохнут и сгорят от искры

истинного разумения». Идол любил оскорблять: «Сам себя по лбу стукни, дурак, да покрепче, три раза, чтобы запомнил получше, и глаголь: дурачище напичканное, болванище учнейшее, идиотище образованное!» Как и человек, машина любила соснуть, но не более, чем на пару часов в сутки. Она просыпалась, позевывала, кряхтела . . . «Эх, грехи ваши тяжкие» . . . сопела, а затем разряжалась проповедью.

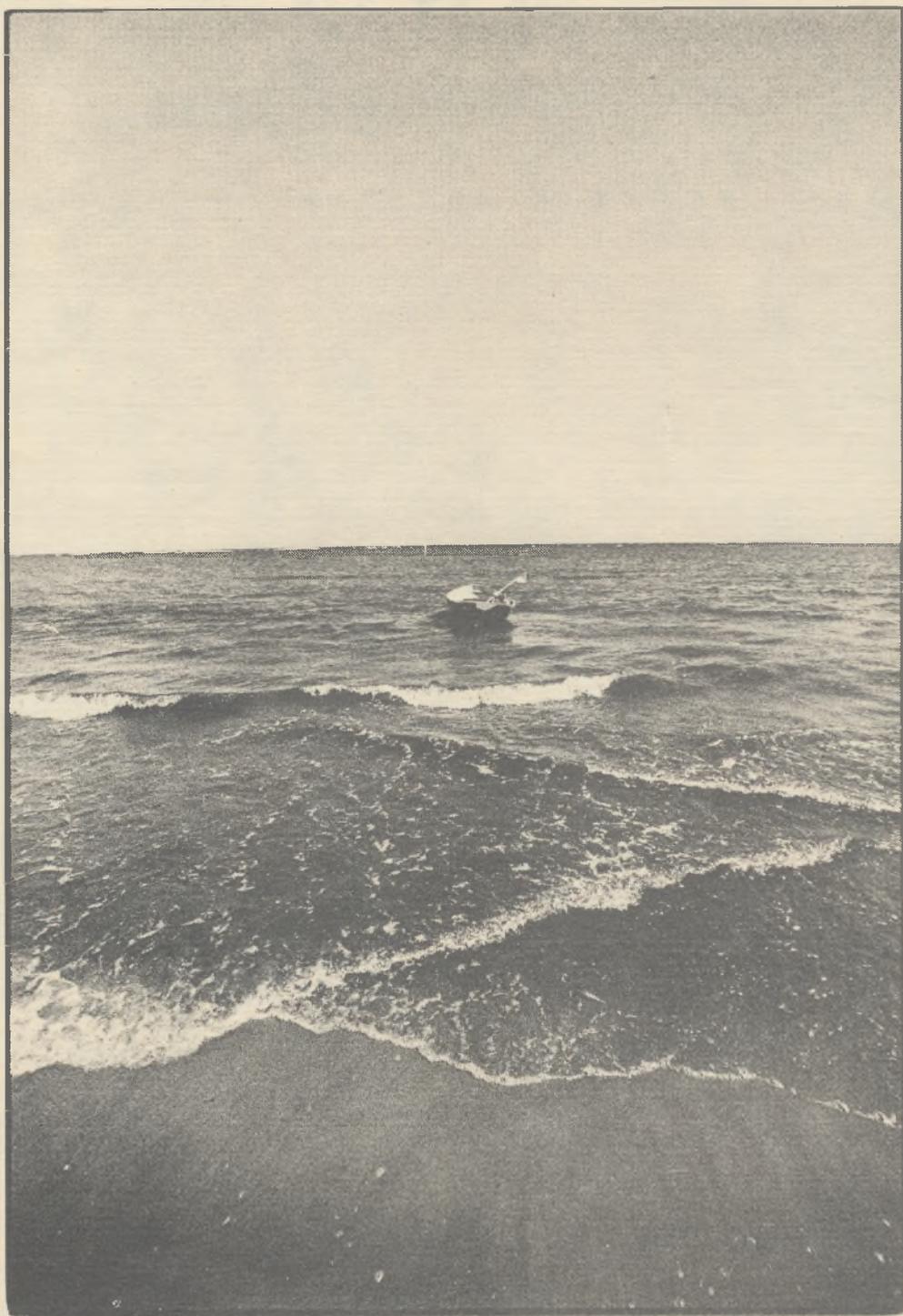
Машина, как рыба, плавала в воде церковно-славянской словесности, свободно изъяснялась на русском, украинском и татарском, умела с ошибками, правда, вернуть немецкую поговорку, но лютто ненавидела французский, почему-то, и латынь, да и все Средиземноморье обзывала медитерией или морем Содомским. Знания идола в литературе были весьма посредственными, но тем не менее он считал себя большим знатоком «греховной словесности». Любый человек, осмелившийся оспорить очередную сентенцию идола, подвергался всеобщему осмеянию и даже изгнанию. Известный профессор московского университета впал при мне в извиняющийся лепет по поводу незнания лубочной книжонки «Княжна и дорожный разбойник Василий Сермяга», которую машина превозносила выше «Фауста» — почему-то.

В речах новоявленного пророка проглядывал лик обиженного судьбой дьячка-расстриги. Еще будучи в Киеве я попытался проанализировать список оплеванных и вывести из него обиженного, но обиженных на нашем свете оказалось столько, что учесть их не было никакой возможности.

Я осторожно обследовал гору, что, впрочем, до меня весьма основательно проделал местный исправник, но никакого тайного хода не обнаружил. Все попытки пресечь деятельность секты натолкнулись на неожиданные препятствия, ибо истина к тому времени заручилась поддержкой высокопоставленных сановников из Санкт-Петербурга, и даже от моего начальника Дегтярева поступило распоряжение о прекращении следствия. Все, что я смог сделать, это добиться от него разрешения на завершение следствия в двухнедельный срок. За время моего отсутствия отец Варнава вместе с Ахмедкой начали сбор средств для покрытия физиономии Истины золотом и к моему приезду успели позолотить бо-  
году мерзавке.

Тем временем началась крымская кампания, но военные действия проходили в стороне и не мешали деятельности идола. Я решил, однако, воспользоваться ситуацией и обратился к проходящим мимо казакам с просьбой дать залп из орудий по Истине. Сотник с неохотой откликнулся на мою просьбу, но когда дело дошло до рядовых артиллеристов, то они наотрез отказались под нагайкой своего командира. К тому времени поблизости появился французский корабль, капитаном которого оказался мой давний знакомый. Я рискнул не только потерять репутацию, а и даже быть обвиненным в предательстве: поднялся на корабль и попросил моего знакомого расстрелять источник беззаконий и суевений, и он без промедления приказал дать залп из дальнобойных орудий по идолу. Каменная маска мгновенно разлетелась, и моему взору предстал выпиленный в камне механизм, похожий на внутренности башенных часов. Вся эта неподвижная машинерия уходила в глубь горы на довольно большое расстояние, но каких-либо следов человека в лабиринте не оказалось. Каким образом звучал голос в этом дьявольском устройстве, выяснить мне не удалось, к тому же я торопился довести свое дело до конца. Я заложил в глубине несколько бочек пороха, по моему сигналу с корабля раздался еще один залп, и с идолом было покончено навсегда.

По прошествии нескольких лет уже в Петербурге, будучи следователем по особо важным делам, я ехал после расследования, связанного с модой не только что оплывавать, а просто-таки убивать высокопоставленных особ. Неожиданно с паперти какой-то церкви, очертания которой терлись в тумане, я услышал в полудреме знакомую речь. «Я — щель во Времени, прореха в Материи . . .» — Я соскочил с коляски, но нищие, сидящие на паперти, вдруг бросились врассыпную. На какое-то мгновение мелькнула, или мне показалось, — ассирийская рожа давешнего старца, но я так и не смог определить, было ли это на самом деле или привиделось мне в полудреме.



10.  
ИЗ ЦИКЛА «ДРУГ МОИХ ДРУЗЕЙ...»

50 коп.

Индекс 77110

# РОДНИК

ПРОЗА ПОЭЗИЯ ДРАМАТУРГИЯ ПУБЛИЦИСТИКА КРИТИКА

